

МИРЫ Г. Л. ОЛДИ

ГЕНРИ ЛАЙОН
ОЛДИ

Я ВОЗЬМУ
САМ

МИСТИКО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ФЭНТЕЗИ



ЭКСМО

Генри Лайон Олди

Я возьму сам

Серия «Кабирский цикл», книга 3

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=134381
Я возьму сам: Эксмо; Москва; 2004
ISBN 5-699-07245-4*

Аннотация

Перед нами – поэма. Ведь аль-Мутанабби, главный герой романа, – поэт, пусть даже меч его разит без промаха, а жизнь поэта – это его песня. Но кроме того, поэт и сам Олди – читая роман, не замечаешь разницы между плавно льющейся прозой и мерным ритмом восточных стихов. «Я возьму сам» – блестящая аллегорическая поэма о судьбе эмира и едва ли не шахиншаха, отринувшего меч, чтобы войти в историю в качестве поэта. Потому что меч – наваждение, посланное черной магией фарра; и сколь ни завоевывай Кабир мечом, это не оживит запертых в нем марионеток.

Содержание

Книга первая	8
Фарр-ла-Кабир	8
Касыда о ночной грозе	9
Глава первая,	10
Глава вторая,	26
Глава третья,	42
Глава четвертая,	67
Глава пятая,	88
Глава шестая,	105
Глава седьмая,	123
Глава восьмая,	148
Конец ознакомительного фрагмента.	153

Г.Л. Олди

Я Возьму Сам

*До каких я великих высот возношусь
И кого из владык я теперь устрашусь,
Если все на земле, если все в небесах –
Все, что создал Аллах и не создал Аллах,
Для моих устремлений – ничтожней, бедней,
Чем любой волосок на макушке моей!
Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби*

Есть такие призраки, что приходят между явью и сном.

«Ну что это за свинство?! – хрипло бормочешь ты, натягивая одеяло на голову. – Просто безобразие! Эй вы там – я вас что, для этого выдумывал? Для этого, да?! А ну живо, кыш отсюда!»

Шаги. Скрипят половицы, чужое дыхание перышком касается щеки, щекотно, щекотно... у дальней стены тихо смеются. Хрустальные колокольцы откликаются щемящим вздохам сквозняка; ты пинаешь ногой наугад, промахиваешься и обнимаешь подушку истово, как обнимают желаннейшую из женщин.

На кухне звякает посуда.

Пахнет чаем: крутым, свежезаваренным... чаем пахнет.

– Призываю в свидетели чернила, – бормочешь ты, не ведая, что творишь, – и перо, и написанное пером! Эй, свидетели: я сейчас встану, и никому мало не покажется! Вы слы-

шите... вы... слышите...

Есть такие места, куда попадаешь между сном и сном.

Песок струится меж пальцами, уходя в песок; желтые крошки бытия, и белые крошки бытия, а еще, говорят, бывают черные, красные... Стойте! Куда вы?! В горсти вода – те хрустальные колокольцы, что совсем недавно заигрывали со сквозняками, обрываются крупными каплями, и остается лишь вытереть мокрой ладонью лоб.

«Ну что это за свинство?! – Ты идешь по берегу реки, ругаясь в такт шагам всеми бранными словами, которые успело выдумать человечество за века существования; и еще добрым десятком слов, человечеству неизвестных. – Эй вы там – дадите мне выспаться, в конце концов, или нет?! На кой я выдумывал эту речку, и эту пустыню, и эти горы (что, уже горы?! м-мать!..)?! Для чьей забавы: моей или вашей?! Вот сейчас проснусь – и всех к ногтю... всех... к ногтю...»

Ветер смеется в лицо, мелкий щебень норовит забиться в башмаки, сосны на взгорье текут смолистым ароматом, и вместо одеяла остается лишь натянуть на голову серую пелену дождя.

Шаги.

За спиной.

Ты оборачиваешься: никого.

Одни шаги.

– Призываю в свидетели серые сумерки, и ночь, и все то, что она оживляет, – бормочешь ты, лишь бы заглушить про-

клятые шаги, лишь бы не слышать этого шарканья стертых подошв. – Призываю в свидетели месяц, когда он нарождается, и зарю, когда она начинает алеть... призываю! Эй, свидетели: имейте в виду, в следующий раз я напьюсь до того волшебного состояния, когда сны шарахаются от перегара на сто поприщ! Имейте... в виду...

Есть такие слова, что начинают звучать между сном и явью.

Безумие воцаряется кругом: лепет младенца, крик страсти, вопль влюбленного ишака, старческое бормотанье, гнусаво пришепetyвает мелкий плут, взхлеб плачет женщина, выталкивая из себя комки отчаянья. «Да чтоб вас всех! – надрываешься ты, не слыша собственного голоса, ощущая лишь боль, жгучую боль в горле. – Заткнитесь! Онемейте! Клянусь: всем языки вырву!.. всем... всем...»

Слова испуганно разбегаются, чтобы из углов тыкать в тебя пальцами.

– Призываю в свидетели день Страшного Суда и укоряющую себя душу. – Остается лишь воздеть руки к потолку, прекрасно понимая всю бесполезность жеста. – Призываю в свидетели время, начало и конец всего, ибо воистину...

– Ибо воистину человек всегда оказывается в убытке, – отвечают они, уходя.

Призраки, места, слова...

– Всегда? – спрашиваешь ты у них.

– Нет, правда? – спрашиваешь ты у них.

– Посто́йте! – И они останавливаются на пороге.

Есть такая жизнь, что начинается между явью и явью.

Книга первая

Фарр-ла-Кабир

Во имя Творца, Единого, Безначального, да пребудет его милость над нами! И пал Кабир белостенный, и воссел на завоеванный престол вождь племен с предгорий Сафед-Кух, неистовый и мятежный Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мута-набби, чей чанг в редкие часы мира звенел, подобно мечу, а меч в годину битв пел громко и радостно, слагая песню смерти...

То, что гнало его в поход,
Вперед, как лошадь — плеть,
То, что гнало его в поход,
Искать огонь и смерть,
И сеять гибель каждый раз,
Топтать чужой посев —
То было что-то выше нас,
То было выше всех.

И. Бродский. «Баллада Короля»

Касыда о ночной грозе

О гроза, гроза ночная, ты душе – блаженство рая,
Дашь ли вспыхнуть, умирая, догорающей свечой,

Дашь ли быть самым собою, дарованьем и мольбою,
Скромностью и похвальбою, жертвою и палачом?

Не встававший на колени – стану ль ждать чужих
молений?

Не прощавший оскорблений – буду ль гордыми прощен?!

Тот, в чьем сердце – ад пустыни, в море бедствий не
остынет,

Раскаленная гордыня служит сильному плащом.

Я любовью чернооких, упоеньем битв жестоких,
Солнцем, вставшим на востоке, безнадежно обольщен.

Только мне – влюбленный шепот, только мне – далекий
топот,

Уходящей жизни опыт – только мне. Кому ж еще?!

Пусть враги стенают, ибо от Багдада до Магриба
Петь душе Абу-т-Тайиба, препоясанной мечом!

**Глава первая,
где излагаются сожаления по
поводу ушедшей молодости,
слышится топот копыт и бряцанье
клинков, воспеваются красавицы
и проклиняются певцы, но даже
единым словом не упоминается о
том, что всякому правоверному в
раю будет дано для сожительства
ровно семьдесят две гурии,
и это так же верно, как ваши
сомнения относительно сего**

1

Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно нес-
лась в небо. Словно хотела пробить первый свод, как следует
тряхнув подвешенные на золотых цепях звезды, и ворвать-
ся туда, где ангелы в воплощении животных предстоят пе-

ред Всевышним за разных зверей. Туда, где бродит одиноко белоснежный петух, чей гребень касается опор неба второго – хоть пятьсот лет пути разделяет небеса! – и про которого сказано: «Есть три голоса, к коим Аллах всегда преклоняет свой слух: голос чтеца Корана, голос молящего о прощении и кукареканье сего петуха». Ибо все твари земные просыпаются от его пенья (кроме человека), а прочие кочеты поют «аллилуйя» тем же тоном, что и белый гигант.

Говорят, в преддверии Судного Дня смолкнет великий провозвестник зари, сложит крылья и нахохлится, а следом за ним онемеют все петухи земли; и это будет знаком скорого конца мира.

Несись, рыжая, тешь себя несбыточными надеждами, пока есть еще время, пластайся в яростной скачке над минаретами Басры и Куфы, дворцами аль-Андалуса и острова Вахат, садами Исфахана и Хуросона – гони!..

...Человек у ночного костра невесело ухмыльнулся. Поворошил угли палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав, и в ответ иные буквы зарделись, заплясали в очнувшемся пламени – алиф, мим, нун, син, каф... ты, гроза, гроза ночная... Заревая кобылица пока что существовала лишь в воображении человека, до бега ее оставалось не меньше трех часов, а реальность была совсем иной: костер, который пришлось разводить заново, ежеминутно поминая шайтана над сырыми дровами. Гроза промочила одежду до

нитки, бурнус пришлось дважды выкручивать, и в итоге сухими остались лишь нижние шаровары из кожи, пропитанной овечьим жиром, да еще упрятанный на дно запасного выюка уккаль – головной убор бедуинов.

Полотнище ткани и витой шнур, удерживающий покрывало на голове.

Человек еще раз усмехнулся. Уккаль подарили ему те, кто сейчас рыскал по пустыне в надежде залить пожар ненависти кровью беглеца. Смешная штука – жизнь. Все прекрасно знают, куда влечет нас течение, и тем не менее каждый надеется, что именно его забросит в иное русло. Вчера ты грел зад на атласных подушках, а черноглазая гурия несла тебе чашу шербета или запретный плод виноградных лоз, сегодня тебя ждет дырявый ковер, вытканый еще во времена Яджуджа и Маджуджа, и вместо гурии с чашей ты вынужден довольствоваться старухой-фазариткой со щербатой плошкой, где плещется верблюжье молоко. Но пройдет день или час, и явление ангела смерти Азраила, чьи ужасные глаза стоят друг от друга на семьдесят тысяч дневных переходов, заставит добрым словом помянуть щедрую дочь Бену Фазар – и что с того, что ее предки после смерти пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) отпали от истинной веры, возвратясь к племенному идолу Халлялю?! Только что твой рот набивали жемчугами, превращая каждое сказанное тобой слово в блестящую бусину, но вот уже твой сладкоречивый рот, твою сокровищницу, готовы доверху набить со-

бачьим дерьмом, ибо сказал не то, чего ждали, и не так, как ждали! Старый мерин, кричат они вслед, крепость паскудства, дитя вон и слепоты... ты хватаешься за меч, но они разбегаются, гнушаясь честным боем, и ты остаешься один на один с обидой.

Стрелы поношений, оперенные наилучшими сравнениями, с наконечниками из самых изысканных рифм от Йемена до Моря Мрака, где плавают наводящие страх глыбы льда, падают в пустоту, не найдя цели – о, они убегают, а «старый мерин» и без рифм звучит громче и противней ослиного рева...

Как же ты был прав, еретик и скряга Абу-ль-Атахия, чье прозвище-кунья означает «Отец Безумия», умерший за девяносто лет до моего рождения, непревзойденный мастер жанра «зухдийят» – стихов о бренности жизни:

Вернись обратно, молодость!
Зову, горюю, плачу,
свои седые волосы
подкрашиваю, прячу,
как дерево осеннее
стою, дрожу под ветром,
оплакиваю прошлое,
впустую годы трачу.
Приди хоть в гости, молодость!
Меня и не узнаешь,
седого, упустившего

последнюю удачу.

Человек собрался было усмехнуться в третий раз, но раздумал.

И правильно, в общем, поступил.

Улыбка давно не красила его, лишенного изрядной части зубов, и среди них – двух передних. Их выбил тупым концом копья один ревнитель чести из племени Бену Кельб, столь же горячий, сколь и опрометчивый. Ведь если его сирийские прадеды действительно придерживались веры креста до того, как обратить свой слух к воззваниям пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), то почему об этом нельзя сказать вслух?! Сказать ясно и просто, не рискуя лишиться передних зубов и поссориться затем со всеми кельбитами – о нет, не из-за их прошлого, но из-за безвременной гибели пылкого соплеменника! Ведь если не вовремя высказанная правда стоит славного удара, то заплатить ударом за удар вдвойне достойно! Возгласил же пророк Иса: «Не мир я вам принес, но меч!», и спустя шесть веков с лишним Мухаммад, последний из пророков, повторил при многих свидетелях: «Меч есть ключ к небу и аду».

Да, меч... Человек посмотрел на свою левую руку, до сих пор сжимавшую палку с завитком в виде буквы вав. Вместо безымянного пальца красовалась уродливая культяпка, а на среднем не хватало одной фаланги. Впрочем, палец не голова, а шрамы украшают мужчину. Вон, на шее, и еще на скуле,

и еще под ключицей. Драгоценности, не рубцы! Сокровища. Так говорят сами обладатели шрамов, но с ними редко соглашаются стройные газели тринадцати лет от роду, предпочитая изрубленным ветеранам пухлощеких юношей с усиками чернее амбры. Вот ветеранам и приходится брать газелей силой, утешая себя глупыми пословицами. Пятьдесят лет – плохой возраст для костров под ночными ливнями, особенно в тех краях, где впустую потраченная капля воды воспринимается как личное оскорбление. Давно, давно пора было остепениться, осесть где-нибудь... да хоть в том же Дар-ас-Саламе! Осесть, купить дом, восхвалять халифа и ближних его, подставляя открытый рот за жемчугом или динарами, поносить скупых, вышибая подачки острословием, вести беседы с закадычным другом, прожорливым неряхой Абу-ль-Фараджем Исфаханским, в надежде попасть в «Книгу песен» последнего, наконец, бросить воспевать дев и битвы, вспомнив о бренности тела и вечности души...

Увы, человек никогда не считал себя мастером жанра «зухдийят». Душа не лежала. Собственно, желание освоить этот жанр (вопреки велению сердца, зато по настоянию плешивых умников) и погнало его сперва на Шамийские равнины, а потом сюда, в пустыни Аравии, или, как говаривали персы, Степь Копьеносцев. Где, если не здесь, сохранился неиспорченный язык бедуинов, язык Корана и поэтов «джахилийи»?! – тех времен, когда неистовый Мухаммад еще не родился, чтобы принести верующим слово истины.

Язык восхвалений и поношений, язык правды, язык открытого сердца.

Человек боялся признаться самому себе, что дело не только в этом. Перекати-поле – вот кто он такой. Просто Аллах спросонья моргнул невпопад, и некий младенец в глухом селении близ Куфы родился намного позже правильного срока. Лет эдак на четыреста. Или на пятьсот. Пусть прикусят языки те, кто зовет сии благословенные дни прошлого Эрой Невежества, пусть прикусят до крови, или нет! – пусть лучше вспомнят, чьи семь касыд, где каждое слово благоуханней мускуса, были подвешены к стенам святой Каабы! Пусть вспомнят грозного Имру уль-Кайса, прозванного Скитающим Царем, пусть их устрасит видение чернокожего Антары, Отца Воителей, пусть остальные пятеро великих поэтов-бойцов Эры Невежества на миг скинут погребальные покровы и явятся к хулителям из скрежета зубовного или райского блаженства, где бы они сейчас ни были! Вот когда надо было рождаться, вот с кем надо было ехать бок о бок в походе и набеге, вот с кем стоило состязаться в красноречии и остроте копья...

Где Медный город и Долина гулей, талисманы ифритов и летающие кувшины колдунов, где поединки храбрецов и красавицы-пери, смущающие сердце и похищающие рассудок... и наконец – откуда под горбатым небосводом такое обилие серой слякоти, лишь по недоразумению судьбы имеющей сынами Адама?!

Аллах, куда ты смотришь?!

Человек вздохнул и поднял голову. Умытое грозой небо отливало у горизонта лиловым, и падающие звезды расчерчивали его вдоль и поперек, превращая в драгоценную кашмирскую парчу. Сегодня была ночь правоверных джиннов, сегодня духи, созданные из чистого огня, старались украдкой заглянуть в горние сферы, а ангелы швырялись в дерзких соглядатаев метеорами, отпугивая от запретного зрелища. Видимо, какой-то из вождей джиннов в дерзости своей сунулся дальше обычного – ослепительная молния заставила светильники небес поблекнуть, а вместо грома донеслось рычание Ангела Мести и перезвон раскаленных цепей, грудой сваленных у подножия его престола. Свод над головой затопило овечьим молоком, потом осыпало пеплом и ржавчиной, но джинны отпрянули, рык стих, и лишь холодный порыв ветра налетел с запада.

Будто вздох бездонной пропасти.

Крохотный оазис, давший приют беглецу, вздрогнул до основания, испуганно плеснула влага в водоеме, обнесенном каменными плитами, и колючие акации зашептались, затрясли в испуге ветвями, роняя редкие капли.

Тишина.

Лишь храпят недовольно две лошади: низкорослая тихамитка, чья доля – тяжесть выюков, и тонконогая кобылица с белым пятном во лбу, напоминавшим звезду Сухейль.

– Наама! – еле слышно позвал человек.

Кобылица встрепелулась, зафыркала, и человек помахал ей рукой. Левой, искалеченной, которая до сих пор сжимала палку с завитком в виде буквы вав. Он сам дал кобылице, гордости джизакских табунов, это имя – Наама. В честь страуса-бегуна, чьи ноги способны мерить пески так же скоро, как купец меряет дареный тюк шелка; и еще в честь знаменитой кобылицы прошлого, из-за которой вожди племен спорили долго и обильно, заливая кровью окрестные земли.

Пора было собираться в путь.

Пора было сунуть голову в пасть льва.

Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо. «Наама!» – позвал кто-то снизу. Заря не обернулась, как не оборачивалась и раньше, в славные времена джахилийи, времена поэтов, бойцов и безбожников, о которых тосковал ночью человек у костра.

Аль-Мутанабби Абу-т-Тайиб Ахмед ибн аль-Хусейн из племени Бану Джуф.

Что значит на языке Степи Копьеносцев, языке остром, как меч, и «звонком», как меч: Выдающий-Себя-За-Пророка, Отец Всадников рода Тай, Ахмед, сын аль-Хусейна из южных арабов, рожденный близ благословенной Куфы.

А на земле полновластно царил 354-й год со времени «Бегства пророка», или 965-й год от рождения пророка Исы, как привыкли считать люди креста.

«С детства ненавижу удачливых», – подумалось Абу-т-Тайибу, когда из-за дальнего бархана вывернул такой же одинокий, как и он сам, всадник; и клич радости огласил пески.

Поэт в досаде забыл добавить: «Но удача еще никому не мешала», – ибо клич вполне мог оказаться куда более многоголосьем, а встретить одного преследователя, несомненно, лучше, чем дюжину ему подобных.

Будем спорить?

Не узнать всадника пристало лишь слепому: даже самый щеголеватый из бедуинов не станет скакать по пустыне, вырядившись женихом. Кроме разве что жениха. Того самого жениха из маленького, но гордого племени Бену Кахтан, куда Абу-т-Тайиба позавчера чуть ли не силком затащили на свадьбу. Шейхам племени было лестно присутствие на празднике знаменитого поэта, а самым ретивым охота была проверить: сможет ли похититель столичных сердец привести в восхищение привередливых детей пустыни?

– Мадх! – закричали кахтаниты хором, после того как обильные дары были разложены перед гостем. – Хвалебный мадх в честь невесты!

А одноглазый крепыш, слывший меж соплеменниками знатоком прекрасного, добавил с ехидной усмешечкой:

– Хвалебный мадх с «серой» рифмой, как однажды пел

Ибрахим Счастливец перед повелителем правоверных, мир им обоим!

Абу-т-Тайиб поднялся, не коснувшись руками ковра, с достоинством поклонился собравшимся и начал, аккомпанируя себе на чьей-то изрядно расстроенной лютне:

Ты горбата и зобата, и меня гнетет забота:
Если будешь ты забыта – не моя вина, красавица!

Ты бежишь быстрее лани, ты бредешь, пуская слюни,
Предо мною на колени скоро встанешь ты, красавица!

О, бока твои отвесны, и соски твои отвислы,
Убежать смогу от вас ли, если...

В упоении «серым» мадхом, чья импровизация требовала от сочинителя всего напряжения душевных сил, Абу-т-Тайиб позорно упустил из виду, что шумные знатоки далеко не всегда являются знатоками истинными, и заказчик может быть подталкиваем скорее гонором, нежели знанием тонкостей. Ни одноглазый, ни его соплеменники, как вскоре выяснилось, и понятия не имели о правилах стихосложения. Знай они заранее, что славное восхваление Ибрахима Счастлинца начиналось с описания собачьей подстилки с целью дальнейшего противопоставления ей дворца повелителя правоверных... О, тогда бы они, разумеется, дослушали бы мадх до конца и поняли всем сердцем: их гость намеренно на-

чал с описания верблюдицы, на которой доставили невесту к шатрам жениха, дабы оттенить сим сравнением всю прелесть девушки! Поняли бы, и не стали гневаться, и подарили бы певцу вышеупомянутую верблюдицу вместо того, чтобы ворчать и рычать яростными львами, размахивать мечами и потрясать копьями, швыряться камнями и гоняться за оскорбителем по всей пустыне, обещая сунуть его раздвоенный язык в места много худшие, нежели блюдо с мясом в уксусе!

Ах, и впрямь опасно рассыпать жемчуг перед хрюкающими!

Плащ закона гостеприимства спас Абу-т-Тайиба от немедленной расправы, но едва истек второй час после его бегства, как кахтаниты дружно ринулись в погоню. Впрочем, сперва неудача в поисках, а затем ночная гроза поохладила горячие головы (или кто-то из шейхов вспомнил-таки основы стихосложения, за что хвала создателю миров!) – короче, лишь оскорбленный жених продолжил рыскать меж барханами и оазисами, кусая губы.

Докусался, везунчик.

Догнал.

– О встреча, не позволившая моей желчи разлиться бурным потоком! – заорал бедуин еще издалека, и кобылица Наама злобно откликнулась на ржание бедуинского жеребца. – О старик, чей вид скверен, образ мерзок, а запах отвратителен! Любуйся мною, ибо пробил твой час!

Абу-т-Тайиб вздохнул и понял, что юноша в детстве пересидел у пастушьих костров, слушая «Рассказы о подвигах племени ал-Хиллял».

Но, так или иначе, начало требовало продолжения.

– Ты подробно описал мне своего благородного отца, о пылкий жених! – привстав на стремянах, крикнул поэт, пытаясь не усложнять поношений лишними сравнениями и образами – для вящего понимания. – Ты лишь забыл добавить, что он в старости делает воздух мрачным и пространство от вонии непрозрачным! Давай же теперь вспомним твою славную мать! Правда ли, что, когда она хотела золотой динар, ей давали медный фельс, а когда она просила фельс, то получала рубленый даник? И правда ли то, что когда она просила сына, то получала безродного ублюдка вроде тебя?!

После этого бедуин вместо острых слов швырнул в оскорбителя копьем, а оскорбитель, уворачиваясь, понял раз и навсегда: жанр «зухдийят», воспевающий добродетель и осуждающий мирскую тщету, воистину недоступен для бедного поэта.

Как райские сады недоступны для хулителей веры, как чалма недоступна для безголового, как...

Вскоре досужие мысли улетучились сами собой, а жеребец араба и тонконогая Наама сшиблись, стараясь вцепиться друг другу в шею.

Легко и весело рубился жених, пьянея от самого опасного в мире хмеля, вкладывая в удары всю нерастраченную

юность, весь пыл, которому следовало бы выплеснуться в невестинной палатке – во имя рождения новой жизни, а не для истребления старой. Бой должен был стать коротким, коротким и ярким, ибо ждать – сердце плавить, а кровь обидчика слаще воды источника Земзем, даруя если не бессмертие, то непреходящую славу. Увы, кривой машрафийский меч старика, изготовленный славными оружейниками Йемена, оказался существенно длинней и тяжелее, чем звонкая жениховская альфанга, а сам старик-сквернослов – существенно упрямей и опытней в поединках храбрецов, чем показалось юноше с первого взгляда. Змеи клинков плели в воздухе чудную вязь, рассыпая искры-чешуйки, немела рука бедуина, запаздывая выполнять приказы хозяина, и вот уже ядовитый поцелуй залил бедро алым ручьем, и еще, и снова, а проклятая кобыла вертелась выюном, словно крылатая аль-Борак, что доставила пророка к престолу Аллаха; и еще, и снова... и мнилось, поет небо над головой: «Разящие рифмы в пыли загремят, обученные сражаться – от этих стихов головам врагов на шеях не удержаться!..»

Нет, Абу-т-Тайиб не хотел убивать глупого мальчишку. И жалость была тут совершенно ни при чем. Мало чести, а душа потом воет на луну тоскливым воем, саднит застарелой язвой, словно и не душа она вовсе, и являются из ниоткуда призраки с тусклыми бельмами, сидят рядом до самого утра, безмолвно вопрошая убийцу:

– Зачем? Пусть его, отлежится, опомнится, свои подберут,

невеста выходит... Е рабб, в смысле «Боже мой»! Что ж ты делаешь, безумец?!

В самый последний момент жених вдруг застыл в седле каменным изваянием, рисованным красавцем-идолом, запретным для истинно верующих; изрядно выщербленная боем альфанга остановилась на полувзмахе – и клинок Абу-т-Тайиба не удержал разбега. Когда голова жениха отделялась от шеи, умирающие глаза все еще смотрели куда-то за спину поэта, смотрели пристально, испуганно, будто увидев рогатого ифрита или святого бродягу Хызра; но кто в наши времена поддается на дешевые уловки? Поэт благоразумно дождался, пока безглавое тело упадет в песок, и лишь потом обернулся, заранее зная, что не увидит ничего особенного.

Он и не увидел ничего.

На пустыню рушился самум.

Непроглядная чернота задрала подол небу, и насилие свершилось.

3

«Кто я... о-о-о, скажите мне, кто я?!»

«Выдающий-Себя-За-Пророка, Отец Всадников рода Тай; маленький Ахмед, глупый сын аль-Хусейна, ветвь от пальмы гордых арабов юга...»

«Где я?! Где я, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби?!»

Нет ответа.

Лишь хихикает мелко насмешник-невидимка: «В преддверии ада, дружище, – а хуже места и не сыскать, хоть век ищи!»

Тьма обступает, морочит, приникает постылой женою, на зубах хрустит песок, а где-то неподалеку капли воды долбят темя вечности: алиф, мим, нун, син, каф... ты, гроза, гроза ночная...

Капли?

Воды?!

Встать на ноги труднее, чем пешком дойти до легендарной горы Каф, и поначалу приходится двигаться на четвереньках, по-собачьи, в кровь обдирая колени, а потом уже, когда боль становится обжигающим кнутом, рывком подымать себя и, выплевывая хриплый стон, тащиться в темноту, невозможную, небывалую темноту, где пахнет сыростью, а капли не смолкают, бубнят речитативом: алиф, мим...

Надо было идти.

**Глава вторая,
которая есть наилучшая в
нашем повествовании, ибо
здесь говорится о безвременной
кончине владык и трудностях,
связанных с наследованием
трона, о моргающих глазах мира и
долинах гулей-людоедов, но даже
краешком не приоткрывается
завеса над тайной древнего
храма Сарта-Ожидающего, да
сохранит его Аллах и приветствует!**

1

Суришар с ленивым интересом наблюдал за приготовлениями жрецов-хирбедов, вызвавшихся служить проводниками. Перевал как перевал, родной брат предыдущего и двоюродный того, что они миновали три дня назад – морщини-

стые, изъязвленные ветрами скалы, сквозь которые упрямо ползет змея горной тропы, накручивая кольца: вверх-вниз, вверх-вниз...

В общем, будущий шах совершенно не понимал: зачем хирбедам понадобилось останавливаться именно здесь и с головой погружаться в таинства явно бессмысленного обряда? Подготовка затягивалась на шее удавкой палача, грозя если не смертью, то смертельной скукой; и вскоре ожидание вдоль и поперек изгрызло печень нетерпеливому Суришару. Даже учитывая, что сейчас его взгляд настойчиво ласкал молоденькую жрицу Нахид. Увы! – будь сей взгляд стократ пламенней, и то остыл бы, расплескавшись по ледяной броне невозмутимости прекрасной хирбеди. Девушка была всецело поглощена разведением ритуального огня на жаровенке-алтаре, установленной поперек дороги, и не обращала на наследника престола никакого внимания.

Впрочем, точно так же она вела себя и в течение всего пути, чем дальше, тем больше раздражая молодого человека. Суришар ценил себя весьма высоко, и не без оснований: знатен, юн, красив, остроумен... что еще? Стихи – как из рога изобилия! Вот, к примеру:

Прости, красавица, и не вини поэта,
Что он любовь твою подробно описал!
Пусть то, о чем писал, не испытал он сам –
Поверь, он мысленно присутствовал при этом!

Ну?! Где славословия?! Где восторги равных и пресмыкание низших?! Все нам по плечу, хоть слово, хоть меч... кстати, о мечях! На ристалище или на скачках приз получить – и тут он один из первых в столице! Отвага? Презрение к опасности? Ха! Кто еще из возможных наследников решился на Испытание, вышел на дорогу, которую должен пройти будущий владыка Кабира? Да никто, кроме него! И быть ему вскорости шахом, а эти унылолицые пусть прозябают...

Женщины от таких молодцов должны быть без ума. И были без ума. И будут. За исключением Нахид-хирбеди. Разумеется, подобное равнодушие «небоглазой» жрицы (а ведь действительно: глаза у девицы – голубые и пронзительные, как небо в горах!) выводило будущего шаха из себя. Тем более что обета безбрачия жрицы не давали. Сыщется достойный жених – и ладно... а сказок про блудливых хирбеди хоть пруд пруди!

«Ничего, дай срок, гордячка! Вот сяду на престол – возьму в жены. Или лучше в наложницы. Шаху не отказывают, – злорадно думал юноша, лаская яростным взглядом по-звериному изогнувшуюся фигурку жрицы, что припала к алтарю. – А мольбы Огню Небесному пусть плешивые мудрецы возносят!.. кто на них, кроме Огня, позарится?» – Он покосился на хирбеда, бродившего вокруг Нахид и алтаря с невнятным бормотанием.

Вот этот жрец был правильный: долговязый старец, отменно седой и морщинистый, в плаще шафранового цвета,

надетом по случаю обряда поверх изрядно сношенной рясы. Общую благообразность слегка портила бородавка на верхней губе – раздвинув усы, проклятая нагло вылезала, подставляя бока для всеобщего обозрения и топырясь тремя иссиня-черными волосками, росшими из нее...

Словно почувствовав взгляд Суришара, старец вдруг остановился, коротко взглянул на шах-заде, но ничего не сказал и продолжил свое бесконечное хождение по кругу.

Седой хирбед тоже был «небоглазым», только в его запавших глазницах плескалась не безумная горная синь, а блеклое небо пустыни.

«Так, наверное, и должно быть», – невпопад подумалось шах-заде, и он сам удивился такому странному итогу.

Огонь мало-помалу разгорался, обратив слух, наконец, к уговорам молодой хирбеди, старец без усталости наворачивал круг за кругом, бормоча себе под нос свое «хирам, хирам, кирам, пирам» – молитвы? заклинания? просто какую-то ерунду? – и Суришару уже начало казаться, что так было всегда, от сотворения мира, и они торчат на этом перевале уже целую вечность, и будут торчать еще вечность, до скончания времен, и хирам, и пирам, и еще кирам...

– Вставай, шах-заде. Можно ехать.

– А до этого нельзя было? – не удержался Суришар, стряхивая оцепенение и с трудом поднимаясь на ноги.

В колени словно песка насыпали.

– Можно. Но не нужно. И прошу тебя: держись строго

между нами.

Юноша презрительно фыркнул, подражая собственному жеребцу, но спорить не стал: как раз в этом месте тропа была достаточно широкой, чтобы по ней бок о бок могли проехать трое конных. Раз жрец говорит «надо» – значит, надо. Вот только – зачем? Спросить? Суришар ловко вскочил в седло, подбоченился и с некоторым удивлением обнаружил, что и старик, и девушка опередили его. Святые покровители! – оба сидят верхом. А вся поклажа собрана и приторочена к седлам. И когда успели? Сон его сморил, что ли?..

Что-то здесь было не так. Несуразица комом стояла в горле, насмехалась шорохом малой осыпи, горькой оскоминой плыла в воздухе, от которой хотелось закричать во все горло... а тут еще хирбед с хирбеди буквально зажали его коня с двух сторон своими лошадьми. Шах-заде вновь помянул святых покровителей и машинально проверил: легко ли выходит из ножен сабля? Мало ли. Хотя в такой тесноте и не развернешься для хорошего удара...

– Драться не придется, шах-заде, – в холоде голоса Нахид явственно сквозила легкая насмешка. – Оставь саблю в покое и всего лишь держись между нами. В этом месте очень легко заблудиться.

«Да за кого она меня держит, эта гордячка?!» Однако вслух юноша ничего не сказал: пререкаться с женщиной, пусть даже трижды «небоглазой» – ниже достоинства наследника шахского рода!

Тем паче заблудиться на одной-разъединственной тропе в горах, при полном отсутствии развилок... ладно, промолчим!

Старец сухо щелкнул пальцами, будто уличный лицедей-мутриб – кастаньетами, и кони, как если бы только этого и ждали, шагом тронулись с места. Они шли голова в голову, мерно бряцая серебром уздечек, будто на время превратились в единое существо, и Суришар невольно задумался: а что еще может этот немногословный старик с лающим именем Гургин?

Кроме как бормотать и пальцами щелкать...

В следующее мгновение мир вокруг *мигнул*. Другое слово подобрать было трудно, да и не стоило его подбирать, это слово, ни другое, ни третье, как не нужно пальцами сбрасывать набежавшую слезу – веки сошлись, разошлись, словно встретились века, дрогнув ресницами-днями; миг сменился мигом, и вот – жизнь вроде бы прежняя, но без слезы, застывшей взор.

И без соринки, что вызвала слезу.

Шах-заде ошарашенно заморгал в ответ, затряс головой, не веря своим глазам. Те же горы, то же небо – вот только внизу, в долине, что открылась по правую руку от путников, возник город! Суришар готов был поклясться: до того, как миру вздумалось мигать, никакого города внизу не было! Да и долины не было. Или все-таки была?..

Лишь сейчас он заметил, что кони уже не держат строй,

тропа распухла от сознания собственной значимости, превратившись в довольно торную дорогу, а ладонь самого Суришара крайне глупо закаменела на сабельной рукояти.

– Не беспокойся, шах-заде, – буднично сообщил Гургин, почесывая бородавку. – Осталось совсем немного. К вечеру доберемся до места.

Прозрачное небо опрокинулось само в себя, плотно облекая тропу и всадников на ней; пестрая крупинка ястреба металась в голубизне, оглашая простор хриплым клеткотом, и мелкие камни переговаривались друг с другом под копытами.

У наследника престола было много вопросов к проводникам, но юноша прикусил язык: стыдно уподобляться молоко-сосу-несмышленишу, донимающему взрослых глупой болтовней. Поэтому Суришар осведомился лишь с показным безразличием:

– Что это за город, Гургин? Харза? Кимена? Медный город?

Последнее Суришар добавил с явной подковыркой: в Медный город попадали исключительно доблестные витязи, исключительно при помощи колдунов с бородавками где ни попадя и исключительно в сопровождении прекрасных девиц.

Гургин кивнул с абсолютным равнодушием.

– Проницательность шах-заде не имеет пределов. Это именно Медный город. Впрочем, на самом деле он медный

не более, чем любой другой. И названия у него нет.

– Как это – нет? – опешил юноша. – Но ведь хотя бы его жители как-то называют свою родину?

– Называют, – во второй раз кивнул хирбед. – Просто Город. Город – и все.

2

Наследник престола честно сдерживался почти час. Потом его прорвало, и сквозь разрушенную плотину выдержки и напускного безразличия хлынул мутный поток вопросов.

– Мы заедем в Медный город, Гургин?

– Заедем, шах-заде. Или не заедем. Если да – то на обратном пути. Если нет – то тоже на обратном. Сначала ты должен пройти Испытание.

– А что это вообще за горы? Ты бывал здесь?

– Бывал. И Нахид бывала. А кличут их по-разному. – Суришар обратил внимание, что после странного перевала старик стал куда более разговорчивым. – Жители Города вообще лишних имен не любят. Просто – горы. Других-то все равно поблизости нет. Местные горцы... ну, тут история особая. Для них гор просто так не бывает, для них горы – это весь мир, а мир целиком и без названия проживет. Разве что части... Вон та вершина, в дымке – Тау-Кешт, за ней Ырташ-ата; а перевал, на котором ты скучал и поминал старого дурака тихим помином, – перевал Баррах. Хочешь – запо-

минай, не хочешь – выбрось из головы.

– Гургин, а как ты сам здешние места зовешь? Тоже – просто горы?!

– Фарр-ла-Кабир, – отрезал хирбед, поджав губы, и веселый шах-заде осекся.

Словно подзатыльник схлопотал.

Именно здесь, в этих горах без названия, из века в век решалась судьба будущих шахов Кабира. Наследники рода, претенденты на престол и шахский фарр всякий раз гурьбой отправлялись сюда в сопровождении жрецов Огня Небесного – а возвращался из взыскующих славы лишь один. Шах. Куда девались остальные – никто не знал. Впрочем, хирбеды, наверное, знали. Они-то всегда возвращались в целостности и сохранности!.. знали, но молчали.

Однако Суришару подобная участь не грозила. Дивное дело! – на сей раз он оказался единственным, кто отважился пройти Испытание. Значит, исход однозначен.

Шахом станет он.

А вот известие, что юная Нахид уже бывала в здешних местах, оказалось для шах-заде новостью. Когда это она успела? И – зачем? Похоже, «небоглазые» скрывают ото всех целые сундуки тайн, отнюдь не стремясь посвящать в них даже великих правителей Кабира-белостенного!.. Ничего, когда он примерит шахский кулах и перстень-печать, он заставит их развязать языки. Щелкая пальцами или не щелкая – заставит. Всему свое время: и время это уже не за горами.

Вернее, как раз за горами! – притаилось в логове, куда они сейчас направляются.

Ждет.

Эй, время, слышишь? – ты дождешься!

Я иду!

«Ду-у-у-у...» – откликнулось эхо прямо в сознании шахзаде, не размениваясь на прогулки меж скалами, и юноша вслушался в самого себя: кто это там насмешничает?

– Ты никогда не рассказывал мне, в чем состоит Испытание, «небоглазый», – вновь заговорил Суришар спустя полчаса. – Здесь водятся гули-людоеды? Дэвы? Горные великаны? Я должен буду сразиться с ними?

– Водятся, – охотно согласился старый хирбед, а бородавке досталась новая доля почесываний. – В изобилии.

В ответ послышалось лошадиное фыркание, и до будущего шаха не сразу дошло, что это Нахид весьма удачно передрознила его самого. Еще и издевается, девчонка! Ох, дойду у меня руки, дотянутся, почешут, где чешется!..

Однако, когда юноша скосился на едущую рядом жрицу, вид красавицы-хирбеди был совершенно серьезен.

– Вон за Тау-Кешт, – пальчик Нахид указал на вершину в чалме сизых облаков, – живут хмурые горные великаны. Очень хмурые и очень горные.

– Но мы туда не поедem, – не преминул добавить Гургин, хмурясь почище старейшины всех на свете великанов.

– А долина, куда можно выйти через ущелье по левую руку

– владения гулей-людоедов. Там хранится их боевой петух – чьи перья острее копий, а кукареканье заставляет воинов ходить под себя, словно малых детей и впавших в детство патриархов...

– Но туда мы тоже не поедem, – снова уточнил хирбед. Видимо, на всякий случай.

У Суришара начало складываться впечатление, что эта парочка вполне могла бы зарабатывать кучу динаров, теща своими байками чернь на площадях.

– Наискосок от Тау-Кешт, и на треть фарсанга ближе к Городу, расположен древний храм Сарта-Ожидающего. Иногда там ночуют странные люди, чтобы выйти наружу еще более странными. Или не выйти совсем.

– Сарт-Ожидающий? – с интересом переспросил юноша. – Я никогда не слышал о таком бoге. Кто он?

– Он не бог. Он – Сарт. Он ждет; и ждет не нас, – резко бросил жрец, скривившись, словно в рот ему попала пригоршня зерен горького колоковинта, сулящего несчастье глупому едоку. – И туда мы уж точно не поедem. Испытание – не самоубийство; вернее, далеко не всегда самоубийство. Потерпи, шах-заде. Умерь горячность. Осталось недолго.

После такого ответа у Суришара напрочь пропало желание пускаться в дальнейшие расспросы, и они продолжили путь в молчании.

...Суришар сидел перед входом в пещеру и время от времени бросал взгляд на клонящееся к закату солнце, ожидая, когда Огонь Небесный утонет в складках чалмы Тау-Кешт. Именно в этот момент он, наследник престола, должен будет войти в шершавый сумрак входа, который поглотит его... надолго ли?

Этого шах-заде не знал.

Сейчас юноша был один: Гургин и Нахид ушли, уведя с собой всех трех лошадей и предупредив, что будут ждать шах-заде у выхода. Ему надо просто пройти через пещеру насквозь и выбраться к ожидающим его спутникам. Только и всего. В этом заключалось Испытание. «Только и всего!» – мысленно передразнил юную хирбеди Суришар. Без факела тащиться через мутную сырость, где просто обязан поджидать неизвестно кто или что! Сидит небось во мраке, тварь безымянная, потирает клешни, слюну меж клыков пускает – желтую такую, тягучую... Только и всего! Правда, старый хирбед клялся, что в пещере отродясь не водилось никаких страхолюдин, кроме темноты – но ведь всякий раз с Испытания возвращался лишь один претендент на трон и фарр! Куда девались остальные? Темнота убаюкала?! Даже если пещера и впрямь пуста, как торба нищего (шах-заде отнюдь не был трусом, но ему очень хотелось верить Гургину), то

во мраке вполне можно заблудиться и сгинуть, так и не найдя выхода. Ждите, «небоглазые»! Авось дождетесь... Суришар справедливо полагал, что внутри пещеры должен крыться некий лабиринт – иначе велико ли испытание: пройти по прямой от входа до выхода?!

Нет, на подобное везение он даже не надеялся.

Впрочем, все теперь в руках Судьбы – а еще не было случая, чтобы Судьба отвернулась ото *всех* претендентов, и шахский престол опустел! А раз так, раз претендент один, как одно солнце в небе, значит, Судьба сама за руку проведет его по всем лабиринтам мира – к будущей славе и величию! Иначе просто и быть не может!

Придя к подобному заключению, Суришар малость приободрился, и мысли шах-заде игриво свернули в другое русло, уводя в сторону от предстоящего Испытания.

Только сейчас до юноши начало доходить, сколь завидная доля ему уготована. Когда скоропостижно скончался его прадед, шах Кей-Кобад, донельзя удивив этим знать и простолюдинов, в столице (да, похоже, и во всем Кабирском шахстве) почти месяц царили растерянность и тихое смятение. Впору до дыр зачесать затылки: шах уходит к праотцам, не достигнув и двухвекового рубежа?! Ведь даже сельскому дурачку известно, каков срок жизни великих шахов, обладателей священного фарра, а если верить преданиям старины, так и вовсе впору развести руками! Умереть в сто семьдесят девять лет, в самом расцвете сил...

О Кей-Кобад!

Поговаривали об отравлении или ином тайном умерщвлении, но слыханное ли это дело – поднять руку на носителя фарра?! Вовек не бывало! И тем не менее...

Официальное заключение придворных лекарей-хабибов и верховных хирбедов было: смерть от внезапно наступившей преждевременной старости. Ха! Поверить в такую нелепицу?! Однако вслух объявить лжецами ученых хабибов и мудрых жрецов никто не решился. Через месяц волнения улеглись, траур продолжился, но траур трауром, а престол – престолом.

Кто унаследует трон и фарр?

Кто?!

Родственников у покойного шаха оказалось порядочно, несмотря на раннюю кончину: дряхлые младшие сыновья (старшие давным-давно перешли в лучший из миров, ибо, в отличие от шаха, жили обычные земные сроки), племянники, внуки, правнуки...

Суришар был одним из многих. И даже не самым близким. Но, видимо, молодой шах-заде чем-то выделялся среди толпы возможных претендентов на трон, поскольку однажды рядом с ним остановился один из верховных хирбедов – все тот же Гургин – и загадочно осведомился: «Не зябко ли стоять в тени фарра, шах-заде?»

Ответить или просто переспросить юноша не успел: хирбед исчез быстрее змеи, когда та стремится во мрак норы.

И вскоре выяснилось, что претенденты, один за другим, отказались испытывать судьбу. По собственной воле. В здравом уме и трезвой памяти. В итоге осталось двое: Суришар и его двоюродный дядя Лухрасп, тридцатипятилетний силач и гуляка, который не собирался отступать. Не умел. «Испытание? Отлично! – во всеуслышание заявил Лухрасп, подкручивая ус. – Я чувствую в себе силы достойно продолжить дело Кей-Кобада!» И через три дня силач слег в горячке: родичи даже испугались, что последнее дело шаха, то бишь безвременная смерть, и впрямь будет продолжено бахвалом. Придворные хабибы клялись, что непременно поставят Лухраспа на ноги – но не раньше чем через месяц. А к Испытанию он будет готов... ну, скажем, месяца через три-четыре... Для круглого счета, через полгода. А время подгоняло. Смутная пора междувластья затягивалась, дела в стране шли наперекос, жалобы на самоуправство наместников текли в столицу грязным потоком, дихкане роптали, пряча зерно в потайных ямах, благопристойные горожане без причины ударялись в хмельной загул, ремесленники бездельничали, стражники несли службу спустя рукава и не очень-то торопились ловить расплодившихся сверх всякой меры разбойных людишек...

Народу нужен был шах. Опора и символ государства. Земной Бог, чей фарр олицетворяет сам Огонь Небесный, сошедший на грешную землю, дабы согреть и осветить заблудшие души детей своих.

Ждать выздоровления Лухраспа было смерти подобно. Особенно в свете новостей о набегах кочевников-хургов на рубежах с вечно голодной Харзой. Надо сказать, что Суришар ничего не имел против – и когда к нему заявили хирбеды с вопросом о дне Испытания, ответил коротко, как и подобает человеку решительному, будущему правителю великой державы: «Выезжаем завтра».

Ответ шах-заде явно понравился Гургину; хотя сам юноша предпочел бы нравиться упрямой хирбеди.

И вот теперь...

Очнувшись от раздумий, Суришар воздел очи к небу, налившемуся лиловой глубиной – и увидел, как диск светила тонет в пуховой млечности.

Пора.

Надо было идти.

**Глава третья,
в которой повествуется об ангелах
и праведных размышлениях, о
ястребах и кровниках, пиве и сыре,
но ни слова не говорится о мосте
аль-Серат, перекинутом через
пучину геенны и тонком, как лезвие
дамасской сабли, по которому верные
души пройдут в лучезарном свете,
а грешники – на ощупь, во тьме**

1

Светящийся провал возник впереди сразу, рывком, словно огненная кисть начертила его на скрижалях крошечной тьмы, и Абу-т-Тайиб со стоном зажмурился. Еще и ладонями прикрылся, для верности. Впору было кошунствовать: минуто (час? день? год?!) назад он богохульственно мечтал о способности рассеять темноту властным окриком: «Да будет свет!» Домечтался, еретик. Вот сейчас уберешь ладони, за-

ставишь веки разойтись – и дождешься мрака, одного мрака и ничего, кроме мрака, где пахнет сырой землей и еще отчего-то мокрым войлоком.

На веки вечные.

Омин.

Поэт стоял, дожидаясь, пока сердце прекратит колотиться безумным узником о двери своей тюрьмы, и заставлял себя не думать о случившемся. Не ждать удачи, не надеяться на лучшее и не спешить к плодам бытия. Такому способу хладнокровно принимать беды и напасти его обучил один шакирит из страны Хинд, которую предки поэта еще триста лет тому назад растоптали копытами своих коней. Вместе со всей воинской силой шакиритов – сами они звали себя труднопроизносимым словом «кшатрии», и очень плохо соглашались принимать ислам. Настолько плохо, что, даже согласившись, частенько обзывали пророка Мухаммада (да сохранит его Аллах и приветствует!) девятым воплощением какого-то четырехрукого идола.

Но предки предками, вера верой, а потомки давнишних врагов мирно встречались в благословенном Дар-ас-Саламе, и чубатый шакирит делился с бритоголовым поэтом многими тайнами. В частности, умением отрешиться от земного перед пучиной битвы и океаном волнений. Это умение передавалось в шакиритском роду еще со времен их легендарного родича, колесничного витязя ар-Джунана ибн-Панду умм Притха. Тот, говорят, был мастером самоуспокоения: прад-

да застрелил, двоюродных братьев топтал, как саранчу, учителей с наставниками к ногтю прибирал чище вшей, а сердцем до конца дней своих был кроток и незлобив.

Великий человек, хоть и гяур неверный.

2

Абу-т-Тайиб краем глаза глянул меж решеткой пальцев: нет, светящийся провал никуда не делся. Слепит, манит. Чем манишь, свет? – надеждой?! Глупо. Какая надежда у того, чьей могилой стал песчаный бархан, насыпанный самумом поверх четырех трупов – двух конских и двух человеческих? И по каким пещерам ты бродишь сейчас, ревнивый бедун, жених-неудачник, в злую годину решив потешиться «серым» мадхом?!

Поэт вздохнул и побрел вперед.

Сперва вслепую.

Потом опустил руки.

Потом открыл глаза и обнаружил на фоне светлого пятна две черные фигуры. Ну конечно! – темные ангелы-допросчики, ужасающие Мункар и Накир, соединяющие погибшую душу с былым телом для последнего дознания. Мертвецу велют встать – а он, Абу-т-Тайиб, разве не стоит сейчас, что ли? – и опрашивают с усердием о единстве Божиим и о земных делах. Если ответы удовлетворяют темных ангелов, то тело остается в покое, а дух правоверного тихо ждет у моги-

лы Судного Дня; если же нет – ангелы лупят бедолагу железными палками по лбу, а душу выдергивают с адскими мучениями, словно косорукий цирюльник – гнилой зуб.

Да и тот после на поверку оказывается здоровым.

В предвкушении железных палок Абу-т-Тайиб выбрался наружу и замер, глядя в сторону. Дабы не оскорбить ангелов. И достоинство так сохранить легче: смотри себе мимо и думай о возвышенном... об аде, например. О третьем его круге, где сейчас вопиет слезно умник-шакирит, проклиная своего предка ар-Джунана за дурацкие способы самоуспокоения. Или о круге седьмом, где сидят лицемеры, пропускавшие час молитвы дневной или вечерней, сочинявшие еретические стишки и в дерзости своей восстававшие на справедливость господи миров...

Да одна строка «все, что создал Аллах и не создал Аллах...» вполне заслуживает, чтобы ждать Дня Суда в потаенных недрах земли, а потом свалиться в серный мрак геенны без надежды на прощение!

Крик ястреба спугнул грустные размышления. Поэт покопался в сторону и рассмотрел в сини небес пернатого хищника. Вот он сложил крылья, свинцовым диском, брошенным с крыши умелым ловкачом, рухнул в бездну – чтобы мигом позже вновь явиться в просторе и огласить его негодующим воплем. Упустил добычу? Эх, ястреб, тебя вот никто не станет бить железными палками по лбу... От свежего воздуха слабо кружилась голова. Абу-т-Тайиб еще немного подумал

о ястребах и ангелах, даже сложил машинально пару бейтов:

Я стою, уставясь в небо, всей душой мечтая: мне бы,
словно ястреб, словно небыль, птицей мчаться в небесах!

Но не птица я, не ястреб... Судный День! – коль грянул
час твой,
почему усердной пастве крыльев не ссудил Аллах?!

Бейты вышли странными. До озноба, до неуместной лотомы в костях. Поэт вздохнул и стал разглядывать горы, сурово молчавшие вокруг, размотанную чалму дороги, низкорослые деревья на склонах, после чего решился и перевел взгляд на ангелов.

Спрячт, посланцы.

О чем?

Темный Мункар до ужаса напоминал старца-огнепоклонника, с которым Абу-т-Тайиб однажды познакомился в своих странствиях, пересекая окрестности Гундешапура. Тот маг в оранжевом плаще еще, помнится... шайтан побери! И плащ точно такой же! И бородавка... только у гундешапурского мага она была на щеке. Точно, искушение перед допросом. Иначе чем объяснить, что второй ангел, грозный Накир, как одна песчинка на другую, походил на юную красотку из веселого квартала ан-Римейн, в чьих объятиях поэт не раз забывал о времени поста и покаяния! Ясно, железные палки обеспечены. А вокруг, наверное, лежит промежуточная

страна аль-Араф: место меж адом и раем, лишенное покоя и блаженства, предназначенное для младенцев, лунатиков, идолов и существ, не сделавших никому ни добра, ни зла, а также для тех, чьи прегрешения уравниваются рождением в богобоязненной семье и молитвами матери. Ох, куковать тут с ястребами... и утешаться тем, что унылая аль-Араф для обитателей ада кажется раем.

Впрочем, для обитателей рая все выглядит совсем иначе, и тогда утешаться уже нечем.

– Замолчи! – вдруг выкрикнул Мункар-старец, и полы его плаща всплеснули гривой кобылицы, что еще совсем недавно неслась в небо над живым поэтом. – Замолчи, дерзкая! Не я ли учитель твой?! Не я ли делал из сельской дурочки «небоглазую» хирбеди?! Он вышел из пещеры, и впереди его бежал Златой Овен! Чело его являет нам все признаки величия фарр-ла-Кабир, и блеску юного шах-заде далеко до этого невыносимого сияния! Замолчи, или кровь твоя станет дозволена мне!

Слушая гневную тираду, Абу-т-Тайиб принялся размышлять: отчего бы это темному ангелу вздумалось разговаривать на языке пехлеви? Сам поэт неплохо владел и пехлевийским, и новым фарси-дари, на котором даже пытался сочинять, подражая великому Абу Абдулло Рудаки – сладкоречивого слепца убили ревнители веры в тот день, когда самому поэту исполнилось ровно двадцать шесть лет. Так что понять ангела было проще простого... но ангелы, пожалуй, долж-

ны все-таки изъясняться священным языком Корана! Или не должны? Или ангелам вообще все равно, какие слова слетают с их языков, отточенных подобно самхарийским копьям?

— Я склоняюсь перед волей наставника, — ответил прекрасный Накир, но в звонком ангельском голосе явственно звучали кимвалы противоречия. — И тем не менее, полагаю, что мы должны либо обождать появления шах-заде Суришара, либо вернуться ко входу, либо...

— Либо! — передразнил старец. — Вернуться и ждать грозы с ясного неба! — когда тебе, глупой, отлично известно: ждать больше нечего!

И, не дожидаясь очередного возражения, он бухнулся в ноги поэту, потрясенному столь неуместным поведением ангела.

Тут настал такой момент, когда мысли сами собой проясняются, а сердце успокаивается и бьется ровно-ровно, хотя причин для ровного биения нет ни одной, и даже наоборот. Абу-т-Тайиб оглядел самого себя с ног до головы, оценил превосходную изорванность одежды и наилучшую грязь, щедро украсившую ткань и плоть, после чего строжайшим образом запретил себе валять дурака. Даже ради спасения рассудка. Потому что если долго строить из себя юродивого дервиша, то недолго и всерьез повредиться умом, нацепив власяницу и подражая в неистовости танца суфиям-бродягам.

Хватит.

Судьбе угодно пошутить? – рассмеемся в ответ и пойдем по новой дороге.

А рассуждения об аде и рае оставим для более подходящего случая. Ты сам мечтал о завидной доле и потрясающей участи, ты ссорился с великими и малыми, называя жизнь серой дерюгой, а жизнью – отголоски легенд и сказаний?! Ты убивал и рисковал быть убитым, ты пел и внимал пению; ты ждал, ждал... Радуйся! – кажется, ты получил, что хотел, и теперь можешь вволю разочаровываться, обладая желанным.

Считай, что игривые джиннии забросили тебя за гору Каф.

Много ли это меняет, кроме места действия?

– Подними себя, мой ангел! – Поэт наклонился и ухватил старца под мышки. – Иначе из уважения моих седин к твоим я буду вынужден прилечь рядом, а это оскорбит твою достойную спутницу, ибо грех мужчинам возлежать бок о бок в присутствии белогрудых красавиц! Ну давай, давай, подымайся...

Старец встал с неожиданной легкостью и, отойдя на шаг назад, в пояс поклонился Абу-т-Тайибу.

– Коня ждешь, о мой владыка! – коротко заявил он, не снизойдя до объяснений. – Нам пора отправляться домой, в Кабир.

– Ты уверен? – поинтересовался поэт, удивляясь не столько приглашению вернуться туда, где он никогда не бывал, сколько тому, что у него после удивительных злоключений

ничего не болит. – Тем более что слово «домой» для меня мало что значило раньше... э-э-э... я имею в виду, при жизни; а теперь и вовсе ничего не значит. Не лучше ли вам отправиться своим путем, а мне – своим? И посмотрим, каковы здесь дороги!

«А заодно посмотрим, не ведет ли одна из них в Дар-ас-Салам, где я теперь уж наверняка куплю дом и раскрою рот в ожидании подачек», – едва не добавил он.

– Ничуть не лучше, о мой владыка! Ибо тебя ждет трон и шахский титул, а нас – высокая честь помазания тебя на шахство!

Абу-т-Тайиб расхохотался, с удовлетворением слыша, как здоровое веселье окончательно вымывает из смеха визгливые нотки истерии.

Это было восхитительно: еще недавно он с тоской вспоминал о славных временах джахилии, когда невозможное было возможным, а слава ждала за поворотом ближайшей дороги... Увы, возраст и опыт мешали до конца поверить в сказку, когда она встала на пороге и воскликнула: «Салам!» Не зря же историк аль-Масуди и библиограф ан-Надим, собутыльники, каких мало, и умницы, каких еще меньше, с пренебрежением отзывались о собрании сказок «Тысяча ночей», говоря, что оно составлено «нудно и жидко, подобно калу объевшейся собаки».

И вдобавок сказители слишком часто возвещают: «Он рубил головы, будто шары, а отсеченные руки летели сухими

листьями в пору листопада!» – но горе, если «он» – это не ты, а ты... короче, ясно.

Не отвечая, Абу-т-Тайиб пересек дорогу и встал над обрывом.

– Вон на той вершине, смею полагать, – под ногами беззвучно смеялась пропасть, а за спиной сопел старец, которому если чего и не хватало, так это летающего кувшина, – живут хмурые горные великаны. Полагаю также, что поклоняются они барану, вскормленному миндалем, фисташками и чистым конопляным семенем; а пришельцев они поедают сырыми, кроме милых дев, предназначенных для услаждения божественного барана. Не так ли, мой дорогой старец?

– Мудрость владыки глубже морских пучин! – сдавленно донеслось из-за спины.

– Не то слово, о светоч разума, не то слово... Полагаю также, что, минуя дальнее ущелье, мы попадем в долину гулей-людоедов, которых больше, чем звезд в небе, и нрав у них хуже, нежели у голодного барса! И едят они путников, начиная с печени, ибо таков их обычай!

– Ты... откуда ты знаешь?! – Голос упрямой красавицы, до того звонкий, словно литой кувшин, дал трещину.

– От верблюда, – усмехнулся Абу-т-Тайиб, нарочно глянув на красавицу через левое плечо, чтобы та как следует разглядела шрам на скуле и щербатую усмешку. – Есть один такой верблюд во владении Бену Кахтан, о чьей верблюдице я не вовремя решил сложить стихи... Он мне и поведал о

горных великанах и диких гулях, в чьи уголья мы наверняка не поедем. Потому что я достаточно взрослый, дабы иметь свое суждение относительно героических поездок.

– Мы поедем в Медный город, – вмешался старец-маг, и в хриплом голосе его звучала абсолютная уверенность. – Чтобы завтра отправиться домой. Где владыку ждет шахский венец и поклонение народа. Нахид, веди лошадей!

– Ты не похож на ангела, мой ангел, – искалеченная ладонь поэта огладила бороду, где соли давно было больше, чем перца. – А теперь взгляни на меня и скажи: похож ли я, беспутный бродяга, которого самум и шутки Иблиса затащили невесть куда, – похож ли я на наследника шахского венца? На юношу, подобного свежнему курдюку или динару в фарфоровой миске, чье предназначение – сражать врагов и осыпать поцелуями дев?!

– Похож, мой владыка, – твердо заявил старец тоном, не терпящим возражений. – Похож.

И добавил вполголоса уже знакомую бессмыслицу:

– Фарр-ла-Кабир. Вне сомнений, господа мои! – фарр-ла-Кабир!

Девушка фыркнула, а поэт пожал плечами.

Все лучше железных палок.

3

...Сырой бархат темноты ласкал его щеки, искусно при-

творяясь кистью цирюльника, путался в заплетающихся от усталости ногах, приглашая сесть на валун, отдохнуть, смежить веки и – спать, спать, спать... Но Суришар упрямо шел вперед, время от времени натываясь на стены или падая, чтобы встать и двинуться дальше. Он уже устал шипеть от боли, да и сама боль от многочисленных ушибов и ссадин успела притупиться и потеряла всякое значение. Как и многое другое.

Значение сейчас имело только одно: надо идти, сделать еще дюжину дюжин шагов, а потом – еще полдюжины, и еще... Он дойдет до выхода! Непременно дойдет! Что для этого требуется? – ах, идти, господа мои, всего лишь идти, сквозь тьму и злость, запрещая себе останавливаться и поддаваться на мрачные уговоры пещеры... какая малость!

Он шел.

Счет минутам и часам потерялся давно, и было совершенно невозможно возвращаться за ним, за проклятым счетом, чтобы узнать, ночь сейчас снаружи или день! «Не сойдешь с пути, так сойдешь с ума!» – втихомолку посмеивались стены, тьма, и вторили им чужие, чуждые голоса, обещая скорое исполнение желаний, вечный привал между «сейчас» и «никогда»; шаг, смех, призрак безумия, еще шаг...

И когда мрак впереди наконец дрогнул, сдался на милость человеческому упрямству, посветлел, а затем и вовсе расступился, изгоняемый благословенным Огнем Небесным, Суришар даже не нашел в себе сил для радости. Просто добрел

до выхода — и упал.

Заснул он мгновенно.

* * *

...Суришар воздел очи к небу, налившемуся лиловой глубиной — и увидел, как диск светила тонет в пуховой млечности.

Пора.

Но... ведь это уже было! Юноша непонимающе огляделся: он лежал на знакомом месте, у входа в пещеру, и солнце клонилось к закату, окрашивая снежную вершину Тау-Кешт в пурпурные цвета шахских одежд.

Неужели он просто заснул, устав от ожидания, и все остальное ему привиделось?!

Шах-заде поспешно вскочил на ноги — и тут же во всем теле отдалась ноющая боль. Во рту пересохло, перед глазами разом потемнело, рванув душу постылым воспоминанием... Значит, все это случилось на самом деле? Проклятая пещера, где он пробуждал всю ночь, а к утру вышел... туда, откуда вошел! — и свалился без сил, чтобы проспять до вечера?!

Но где хирбеды с лошадьми, водой и провизией? Ведь Испытание завершилось!

Или нет?

Куда он должен был выйти на самом деле?!

Потрясенный этой догадкой: заблудился, проиграл, не вы-

держал Испытания! – Суришар растерянно озирался по сторонам, все больше убеждаясь в обоснованности своих подозрений.

В отчаянии шах-заде бросился к краю обрыва; и увидел.

Далеко внизу, по пыльной спине горной змеи-дороги, двигались три едва различимые чешуйки: фигурки трех всадников. Суришар напряг зрение, и ему показалось, что он узнает их. Да, точно: вредный Гургин и эта дерзкая недотрога Нахид! А третий... третий... На какое-то мгновение юношу обожгло изумление: третий – это он сам, только сильно постаревший, много повидавший на своем веку, истрепанный жизнью, будто верблюжье одеяло – кочевым погонщиком буйволов... Шах-заде упрямо мотнул головой, освобождаясь от колдовского наваждения, и взгляделся вновь. Конечно же, третий человек, восседавший на его – *его*, Суришара! – жеребце, был ему совершенно незнаком.

Чужак.

«Предатели! – гнев опалил юного шах-заде изнутри, вскипев лавой в жерле вулкана. – Изменники! Они еще поплатятся за это! Догнать, догнать и рассчитаться за все сполна!...»

Но как? Вниз головой с обрыва – и забрызгать своими мозгами негодяев?! Говорят, у раскосых вэйцев такой поступок считается наилучшей мстью обидчику, но он, Суришар, не вэец, он кабирский шах-заде!

Гнев по-прежнему мерно kloкотал внутри, но сверху его начала покрывать ледяная корка холодной, расчетливой яро-

сти.

Гургин говорил, что на обратном пути они скорее всего заедут в Медный город. Вот и славно. Именно там он и перехватит изменников. Но для этого сначала надо добыть коня – пешком он будет добираться до города в лучшем случае неделю, если не сгинет вовсе в здешних ущельях. Коня! Полшахства за коня! Кто-то ведь живет в этих горах? Живет! Издалека они не раз видели прозрачные столбики дыма – верные признаки людских селений. Денег у него с собой достаточно, чтобы купить целый табун аргамаков и в придачу нанять проводника до города; да, проводника – обязательно, а то в этих нелепых грудах камня и заблудиться недолго. А если здесь действительно живут великаны и гули-людоеды... что ж, прекрасно! Он сразится с ними всеми – гулями, великанами, проводниками, горами, пещерами и судьбой! – сразится, что бы ни болтали предатели-хирбеды, и добудет коня силой! Предателям не уйти!

И, забыв об усталости, шах-заде решительно двинулся прочь от зловредной пещеры.

4

Лучина торчала, воткнутая в щель между плоскими нетесаными камнями стены, и скорее чадила, нежели разгоняла мрак. В углах сакли копились корявые извивы теней, притворяясь старой ветошью. Там что-то шуршало, пищало, бегало

взад-вперед, наводя юного шах-заде на неприятные мысли. И пещеру напоминало, только еще противнее. Хозяин, сказавшийся Джухой («Я сам Джуха, и дед мой Джуха, и его дед; а отец мой – Аршантагур, и сын мой – Аршантагур, а внук снова Джуха – слава моему роду!») – так вот, этот самый Джуха, к счастью, свято чтит закон гостеприимства. И говорил понятно: на родине шах-заде примерно так же изъяснялись уроженцы Малого Хакаса, хотя Джуха, в отличие от хакасцев, изрядно коверкал самые простые сочетания слов.

Отчего речь горца походила на его хижину: сто лет стоит, но душу не радует.

Джуха усадил гостя за сланцевый блин, носивший гордое имя стола, и, наотрез запретив сразу переходить к делу или просьбам, принялся выставлять угощение. Вскоре и сам хозяин уселся напротив гостя, разломил лепешку и сделал щедрый жест, предлагая начать трапезу. Суришар, вспомнив обычаи хакасцев, рассчитывал на добрую толику вина, крайне уместного после гнусного Испытания; юноша ухватился за кружку, даже не очень разобрав сперва, что именно в нее налито – и жестоко поплатился.

Один-единственный глоток просяного пива, которое успело прокиснуть и прогоркнуть еще в дни деда Джухи, чуть не вывернул шах-заде наизнанку. Боясь закашляться (кто их знает, этих обидчивых скалолазов?!), он спешно ухватил со стола первое, что попало под руку: сероватый шарик подозрительного вида и с резким запахом извести.

Однако, против ожидания, шарик оказался отнюдь не поместом двузადой птицы Ум, а твердым и на редкость едким овечьим сыром. Он пришелся как нельзя кстати, мгновенно отбив вкус мерзкого пойла. От неожиданности юноша машинально хлебнул еще раз из глиняной кружки – мигом кинув в рот следующий шарик и отметив про себя, что в таком сочетании что-то есть.

Зато лепешки, густо усыпанные поверху сушеной кислицей, а также жареная на углях баранина, окончательно примирили Суришара с местной кухней. Не успели оглянуться, а кувшин опустел, уступая место горячему чаю. Какой же ужин без беседы? А какая беседа без чая?

Или это не чай? – Впрочем, юноше уже было почти все равно.

И пиво булькало в желудке почти приятно.

Сначала Джуха, исполняя долг хозяина, поведал гостю о своем роде и о жизни в здешних горах. Юноша честно надеялся услышать о хмурых великанах и гулях-людоедах, однако речь все время шла о другом: предок Джухи налетел на кровника и угнал пять коз, потом кровник налетел на предка Джухи и отбил три козы, прихватив две чужие овцы и восемь горшков с пивом, потом сын предка Джухи отбил горшки без пива и овчину без мяса, зато обесчестил жену сына кровника, прилюдно назвав ее старой кошелкой, потом внук кровника... Великаны и людоеды в эти подвиги не мешались. Правда, горец помянул между делом подземных духов-аль-

бестов, но явно больше для красного словца – сам Джуха с оными духами не встречался и, похоже, отнюдь не горел желанием встретиться.

Хватало кровников, коз и горшков.

Затем настала очередь Суришара рассказывать. Юноша набрал полную грудь воздуха и, стараясь не слишком врать, но и не говорить всей правды, поведал, как он, потомок знатного рода из далекого Кабира (чистая правда!) долго ехал по горам в сопровождении двух спутников (снова правда!) и как, проснувшись сегодня утром, обнаружил, что спутники исчезли, прихватив заодно его коня, провизию и прочее имущество (а ведь тоже правда! – удивился сам себе шах-заде); а потом он увидел их далеко внизу на дороге в обществе незнакомца, видимо, сообщника – и решил пуститься в погоню за проклятыми предателями, но для погони ему обязательно нужен конь; и хорошо бы – проводник, а то в здешних горах и заблудиться недолго.

Вот.

А теперь промочим горло.

Джуха сочувственно цокал языком на протяжении всего рассказа, а когда юноша умолк, заявил:

– Быть конь. И проводник. Сам проведу. Тропа знаю, быстро ехать. Вай, плохой люди тебе попались! Резать надо. Долго резать надо, сердце греть, печень греть, расстройство долой гнать! Завтра. А сейчас спи будем.

И без всякого предупреждения швырнул в лучину папа-

хой.

* * *

Продавать коня Суришару никто не захотел: на все селение лошадей было не больше десятка, и хозяева соглашались скорее расстаться с руками-ногами, а также со всеми чадами и домочадцами, нежели с любимой скотиной. Ни за какие коврижки, а тем более – деньги. Однако Джуха сумел договориться с сыном двоюродного брата внука кровника, что тот даст гостю коня на время: добраться до Города. Там Джуха заберет коня и приведет обратно, а Суришар купит себе в Городе другого.

На том и порешили.

И вот теперь мохнатый низкорослый зверь, по недоразумению названный конем, споро трусил вслед за лошадыю Джухи по, казалось бы, вообще непроходимым тропинкам.

– К вечеру-ночь быть в Город! – заверил юношу Джуха, сбив на затылок косматую папаху.

От папахи несло горелым.

Осыпям и изъеденным ветрами наростам не было видно конца-краю, зазубренные клыки скал яростно вгрызались в безумную синь неба, деревья, искривленные и скрученные своей тяжкой судьбой, изо всех сил цеплялись за камни руками-корнями... Подъем сменялся спуском, перевал – пе-

ревалом, от жесткого седла и тряской езды у шах-заде уже чувствительно побаливал крестец; вдобавок юношу нещадно донимали блохи – легионы их с радостью переселились на нового хозяина из кошмы, на которой юноша провел ночь в жилище Джухи.

Суришар терпел, стиснув зубы. Юноша прекрасно понимал, что Джуха не виноват – у них все так живут. Горец и без того сделал для шах-заде все, что мог, и даже больше: накормил, обогрел, оставил переночевать, добыл коня и лично вызвался проводить до Города. Кто сделал бы больше? Вся вина за теперешние злоключения лежит на «небоглазых» предателях. Ничего, скоро он до них доберется! До них, и до их третьего сообщника, зачинщика святотатственного сговора! Как сказал о них мудрый Джуха? Резать надо? Правильно сказал! Будем резать.

Перевал.

Спуск.

Р-резать!

Подъем.

Перевал.

Долго резать! – все более ожесточался юноша, подпрыгивая на очередном ухабе и мимо воли расчесывая блошинные укусы. Никакого честного боя – резать, как поганых шакалов! Сердце греть, печень греть, селезенку, требуху... Впрочем, одного из злодеев придется оставить в живых, иначе он просто не найдет дорогу обратно в Кабир! – дошло вдруг до

шах-заде.

Мир моргает редко, а Суришар, увы, не самая большая соринка в глазу.

И когда шах-заде, во время переправы через быстрину горной речушки, смирился с необходимостью оставить в живых красавицу-хирбеди, – за их спинами раздался вой.

Суришар самым постыдным образом вжал голову в плечи, не смея оглянуться. Трусость была присуща кому угодно, кроме молодого шах-заде, но рассудите, господа мои: люди и звери воют по-иному. А здесь желчью выхлестывалась первобытно-жуткая тоска, неотвратимая, как возмездие за грехи в потустороннем мире, и казалось – вековая боль гор исходит унынием, глядя на скрытую до поры луну и захлебываясь от муки без конца и начала.

Лохматый конек прынул вперед и в один прыжок оказался на берегу, нагнав каурюю лошадь Джухи.

Вой оборвался истошным взвизгом, от которого впору было оглохнуть, но эхо его до сих пор металось в теснинах, дробилось, множилось, всем телом ударяясь о скалы, в клочья разрывая самое себя, чтобы вновь и вновь вернуться...

Тишина.

Гулкая, набатная тишина заталкивает в уши бархатные затычки; еще и ладонями поверх хлопает, для верности.

– Что это было, Джуха? – свистящим шепотом спросил юноша, опасаясь говорить громко и не слыша звука собственного голоса.

– Горный Смерт был, – спокойно ответил проводник чуть погодя и добавил с ухмылкой: – Добрый знак.

– Добрый?! – поперхнулся юноша.

– Ясно дела, – в свою очередь приподнял брови Джуха, удивляясь, что его спутник не понимает таких простых вещей. – Он же нас предупредила! А могло и не предупредить.

– И... что теперь?

– А-а, пустяк теперь! Ехай дальше. Темнота приди, мы должен сиди в Город. Тогда жизнь – хороший штука.

– А если это... не сиди в Город?

– Дохнуть станем, ясно дела, – пожал плечами Джуха. – А то пади на ночь в храме Дядь-Сарта, Гложущий Время... Но лучше сиди в Город. Или сдохни.

Дальше они ехали молча. Джуха задремал в седле, при-
свистывая заложенным носом, а шах-заде пытался представить себе что-нибудь хуже смерти.

Получалось плохо, зато блохи донимали куда меньше.

Так, безуспешно терзая себя горькими думами, шах-заде и не заметил, как они подъехали к заставе.

Очнулся он только от оклика Джухи:

– Пошлина платить надо! Деньга доставай!

Действительно, шагах в двадцати впереди дорога была перегорожена суковатым бревном, установленным на подпорках. А сбоку, под навесом, расположились двое близнецов-мордоворотов: в одинаковых чекменях из рыжей шерсти, косматых треухах и с ржавыми, словно молью трачен-

ными, бердышами в руках.

Есть, видать, такая моль, что железо грызет за милые пряники.

– Дирхем и три медных даника за оба рыла, – хрюкнул левый мордоворот, нимало не интересуясь, кто такие путники и по какой надобности едут. Да и то сказать: даже проезжай через заставу разбойный люд с намерением позабавиться в Медном городе – разве ж признаются? А на роже редко у кого написано: я, люди добрые, вор и разбойник. Разве что клеймо палаческое на лбу стоит; да и то клейменных лучше заставщиками нанимать, чтоб злее службу вершили, а на лоб и треух недолго сдвинуть. Я, значит, сдвинул, а ты плати пошлину и проезжай.

Без лишних разговоров.

Шах-заде развязал тесемки кисета и, не слезая с коня, кинул заставщику золотой кабирский динар. Этого должно было хватить с лихвой: сколько бы ни стоил местный дирхем, пускай даже и больше двух третей динара, вряд ли въездная пошлина могла превышать золотой!

Монету прямо на лету словно жаба языком слизала, и мордоворот уставился на свою ладонь, как если бы пытался разобратся в линиях жизни и удачи.

Напарник, глухо сопя, заглядывал через плечо.

– Гляди, и у этих такие же, – пробормотал он, пока первый обстоятельно пробовал монету на зуб.

Суришара передернуло: вонзить зубы в изображение об-

ладателя священного фарра, отчеканенное на монете, – это ли не варварство и святотатство?! Однако юноша сдержался. В здешних горах явно свои законы (небось те, которые дуракам не писаны!); местные дикари, возможно, вообще ничего не знают об истинном порядке вещей, как и упрямые горцы его родных краев... Ничего, они узнают! И те и другие!

Дайте только срок.

– Вкусно! – с уважением протянул левый заставщик, а правый отобрал у него динар и сам стал прикусывать подачку, пофыркивая от удовольствия. – Езжайте, люди добрые, дастарханом вам дорога...

И двинулся к странному приспособлению, состоявшему из деревянного ворота с ручкой, цепи, толстой измочаленной веревки и еще каких-то воротков поменьше. Зазвенела, натягиваясь, цепь, детина крикнул, поднатужась, пустил обильные ветры – и суковатый ствол начал медленно подниматься, освобождая путникам дорогу.

«Вишь ты: дикари, да не совсем», – честно признал юноша.

Уже проехав под поднятым стволом, он вдруг, повинувшись какому-то наитию, обернулся и поинтересовался у заставщика:

– А скажи-ка, любезный, кто расплачивался с вами такой же монетой, как мы? Не трое ли путников: долговязый старец с бородавкой под носом, наглая девица и...

Рука шах-заде скользнула в развязанный кисет.

– ...И здоровый дядька! – возликовал мордоворот, умудрившись поймать брошенный динар, ловко зажав его между плечом и щекой. – Одежа жеваная, рваная, а глазищи хи-итрющие! На роже шрам, да и слепому видно: всласть пожил... Пальцев на руке не хватает; и еще зубов.

– Зубов? На рука? – искренне изумился Джуха, но шахаде мигом перебил своего проводника:

– Давно они проехали?

– Да с третий час будет. Уже в городе небось.

– Ниче, отыщем! И ты их зарезать, – утешил юношу Джуха, когда, уже в сумерках, они проезжали под аркой городских ворот.

Суришар искренне надеялся, что горец окажется прав.

**Глава четвертая,
где излагаются многие соображения
относительно дурных наклонностей
золотых баранов, вспыльчивых
юношей с усиками чернее амбры,
ночных гроз и невезучих собак, но так
и не раскрывается тайна ужасного
воя в горах, хорошо известная
всякому чабану от перевала
Баррах до вершины Тау-Кешт**

1

Постоялый хан со многими коновязями, верблюдовязями и даже одной слоновязью располагался совсем близко от крепостной стены. Рыскать по темным улицам в поисках бывших спутников не имело никакого смысла – те скорее всего давно устроились где-нибудь на ночлег. «Возможно, прямо в этом самом хане!» – мелькнула у Суришара мысль. Увы, надежду на скорую месть не замедлил развеять брито-

головый ханшик, когда шах-заде набросился на него с расспросами. Отведя Суришара в тень вековых карагачей, ханшик подробнейшим образом выслушал юношу, особо замечательные эпизоды упротил повторить, сочувственно хмыкнул, всплеснул руками, пересказал с десятков подобных историй, где мститель благополучно настигал обидчика...

Ханшику очень хотелось поговорить со свежим человеком. И толку от его сочувствия было чуть: поиски в любом случае откладывались до утра.

– Ниче, не уйти! – успокаивал юношу Джуха, налегая на заказанный его спутником плов и вино. – Утром конь тебе купать. Красный конь купать, быстрый. Потом враг найдешь. Зарежешь. И дом поедешь. Ай, хорошо!

Слова горца и уют хана малость успокоили Суришара. А вскоре выяснилось, что здесь не только вкусно кормят: кельи оказались чистые, с белеными стенами, с мягкими тюфяками и без клопов или блох, что было вообще удивительно.

Проснулся юноша ни свет ни заря – солнце еще только боком выползло из-за горизонта, а шило в седалище успешно подняло Суришара на ноги. Он растолкал ворчащего спросонья Джуху (постелью горец не воспользовался, отдав предпочтение дорожному коужу); и они отправились на базар.

Город не произвел на шах-заде особого впечатления: он-то ожидал увидеть невесть что (что именно, он и сам не знал), а тут – смотри-моргай. Кривые улочки, высокие дувалы закрывают дома, площадь вымощена булыжником... Го-

род был заметно меньше не только родного Кабира, но даже Хины или Харзы, где Суришар успел побывать. Лишь общественные хаузы-водоемы, аккуратно выложенные голубой плиткой и оттого на удивление чистые, а также высоченные башни храмов были Суришару в диковинку. «С хаузами они здорово придумали, – решил юноша. – Стану шахом, прикажу, чтобы и в Кабуре так было».

И через минуту их захлестнула базарная разноголосица. – Ай, слава славная! – туманно возвестил горец, потирая ладоши. – Пропустил, радость мой, вывел!.. ай, молодца...

И еле-еле успел вовремя ухватить своего спутника за локоть – иначе шах-заде уже готов был купить у лишайного прохвоста двух красавиц, подобных луне и вполне способных нянчить внучат. Прохвост был отогнан взашей, обиженные красавицы воспеты, но не куплены; и Джуха, игнорируя призывные вопли торговцев сладостями и фруктами, лезущих под ноги попрошаек, разноцветье тканей со всех концов света, оглушительный гомон и дурманы из лавок, торгующих благовониями...

Короче, превратясь в каменного истукана, равнодушного к радостям бытия, горец поволок обалделого Суришара напрямик к конному ряду.

Здесь уж настал черед шах-заде: уж в чем, в чем, а в лошадях юноша разобрался. И теперь сам повлек Джуху мимо бородатых гуртовщиков – все, как на подбор, в дерюжных халатах, подпоясанных веревками, с полами, заправленными

ми в холщовые штаны. Ведь ясно и без разглядывания: кони тут продаются мужицкие – ширококостные, коренастые, с огромными копытами, размером и твердостью напоминавшими головы продавцов. На таких ломовиках только землю пахать или зерно на мельницу возить! Нет уж, Джуха, пошли, пошли, кончай глазеть! – и вскоре тяжеловозы уступили место настоящим бегунцам.

Разочаровав Джуху донельзя.

Суришар долго приглядывался к стройному гнедому трехлетке, чья грива была заплетена в мелкие косички. Зашел сбоку и спереди, резко взмахнул ладонью перед самой мордой: нет, не подслеповат скакун, отпрянул, захрапел!.. ощупал бабки, суставы, понюхал копыта, проверил на шаг и рыси. Всем хорош конь: стать лихая, легок на ногу, хотя сразу видать – долгой скачки не вынесет. Но тут шах-заде спохватился, вспомнив старое правило, усвоенное еще от дворцового конюшего: если сразу конь глянулся, если глаз прикипел – бери, сколько бы ни стоил! Нет денег – в долг бери, умоли, угони, укради, или душа соком изойдет! А ежели задумался, прикидываешь, весы уравниваешь – отойди, брось маяться!

Не про тебя конь, не нужен он тебе.

Да и ты – ему.

Это правило всегда действовало безотказно, и юноша отправился дальше.

А потом он увидел.

Чалый красавец-скакун заговорщицки косил на него влажным лиловым глазом, вскидывал узкую, щучью морду, чуть ли не подмигивал: бери, не прогадаешь! Я – твой! Одного взгляда Суришару хватило, чтобы понять: конь прав. Рождены друг для друга.

И юноша полез за пазуху: доставать кисет.

Торговаться шах-заде не умел в силу происхождения, но теперь настала очередь верного Джухи. Спорили всласть: долго и упорно, ударяя шапками оземь, призывая в свидетели всех и каждого – людей и богов, зверей и демонов, купцов и прохожих, Дядь-Сарта и Горный Смерт – но в итоге ушлый Джуха сбил-таки цену почти на треть. В придачу выдулив роскошный ковровый чепрак.

Солнце близилось к полудню, когда они вернулись в хан.
– Все, парня. Мне вертайся надо. Удачи!

Оставаться в незнакомом Городе и в одиночку пускаться на розыски беглых хирбедов было тоскливо, но – ничего не попишешь. Джуха, совершенно чужой ему человек, и так сделал больше, чем лучший друг или родной брат. Пора и честь знать.

Суришар щедро расплатился с проводником, а также за аренду взятого напрокат конька (цену двоюродный кровник Джухи заломил такую, что впору было вернуться, согреть сердце традиционным способом горцев!). Но возвращаться шах-заде не стал. И торговаться опять не стал. Лишь вздох-

нул тихонько и долго смотрел вслед, пока кожих и папах не скрылись за поворотом.

А после, когда и топот копыт в переулке затих, юноша поручил своего чалого заботам ханщика и отправился на поиски.

2

Справедливо рассудив, что беглецы должны были где-то ночевать, Суришар начал обход города с местных постоянных ханов. За скромную плату хозяева охотно сообщали юноше, кто вчера останавливался у них на ночлег; и, казалось, поиски вот-вот увенчаются успехом. Однако вскоре выяснилось, что ханов в Городе – превеликое множество, и еще неизвестно, удастся ли обойти их все до темноты.

Шах-заде приуныл. Огненная птица-солнце весело подмигивала юноше с небосвода, щедро обрушивая на город слепящий жар своих перьев. Ханщики утирали пот с бритых макушек, перечисляли постояльцев, Суришар вежливо благодарил и шел дальше. Странное дело: поначалу Городглянулша шах-заде совсем убогим – но раз за разом перед юношей открывались все новые площади, улицы и переулки, крепостные стены норовили удрать подальше, и когда солнце начало клониться к закату, Суришар окончательно укрепился во мнении: Город этот если не Медный, то наверняка заколдованный, и заколдован он исключительно с целью за-

морочить Суришару голову!

А может, и вовсе в сговоре с проклятыми хирбедами.

Изрядно проголодавшись за день, юноша решил наконец зайти в ближайшую чайхану – перекусить. Он и предположить не мог, что в этом чадном и шумном заведении удача наконец соизволит улыбнуться ему. Видимо, понравился удаче молодой красавчик: хорошо сидел, хорошо жевал сочный беш-кебаб, вино молодое глотал хорошо и ушки на макушке держать не забывал!

– Эй, Али-хозяин, что за гостя ты сегодня привечал? Уж не пророк ли заезжий, или там святой-чудотворец?

– Шутишь? – Хозяин подозрительно скосился на шумного болтуна, облаченного поверх халата в кожаный фартук сапожника или скорняка.

Нет, скорее все-таки сапожника: у скорняков одежда вонючая...

Болтун прочистил горло, взлохматил черную, как смоль, шевелюру и залпом осушил вместительную кружку.

– Ты, Марцелл, и сам у нас вроде чудотворца, – вмешался в разговор купец средней руки, вытирая ладони о полы длинного казакина. – Еще отец мой, бывало, едва завидит тебя в чайхане, и давай сразу вспоминать, как вы об заклад бились в молодости – кто кого перепьет?! Только отец мой давно в раю гурий за ляжки щупает, а ты все по канавам отсыпашься... Не надоело?

– А, мало ли что дураки вспоминают! – небрежно отмахнулся чернявый Марцелл. – Не лез бы твой родитель меня перепивать, глядишь, и по сей день небо коптил бы помаленьку... На все воля Всевышнего! А вот когда впереди человека в таверну входит золотой баран, сияя, как начищенный сапог, – это что-нибудь, да значит?!

– Какой-такой баран? – мало-помалу раздражался хозяин. – Баранов всяких видел, включая тебя, но чтоб золотой... Ты это если платить не хочешь, так сразу и говори, чтоб я тебя к судье за шкурку волок! Ишь, удумал: баран...

– Кто из нас пьян? – хитро усмехнулся сапожник. – Ну, ежели тебе скупердяйство zenки застит и ты чудо из чудес не увидел, так хоть дядьку того запомнил? Трепанный такой мужик, борода клоками, шрам на роже, и двух пальцев на руке не хватает!

Суришар вздрогнул, напрягся и весь превратился в слух.

– Ну! – уверенно подтвердил хозяин, сообразив, что сапожник не собирается увиливать от платы. – У него еще ухмылка щербатей твоего гребня и горло вроде как перерезано, сохрани нас всех Аллах от злой участи! Небось лиходей-заброта.

– Сам ты лиходей, – скривился купец, о котором успели забыть. – Лиходеи сами берут, а не платят-заказывают. И старики с лиходеями не ходят, почтенные такие старцы в плащах, и порядочные девицы с лиходеями за одним столом не сидят! А с этим и ходили, и сидели. Старик – ладно, а де-

вица – очень даже ничего девица, прямо замечу! Персик, не девица! Пери, не девица! Щечки розовые, глазки небом отсвечивают...

– Кому что, а Мурзе все глазки! – хохотнул кто-то. – Небось уже и разузнал, где остановилась, чтоб ночью навеселиться! Авось пустит Мурзового осла в стойло!

– А то как же! – самодовольно подтвердил Мурза-купец. – В хане хромого Кумара и остановилась. Старик еще две кельи взял: одну – красотке, одну для мужчин.

Народ загомонил, смакуя любимую тему, и никто не слышал, как сапожник в фартуке произнес нараспев, глядя в пустую чашу:

– ...И Златой Овен будет следовать впереди того мужа, носителя священного фарра...

Никто, включая Суришара, которого в чайхане уже не было.

Он слышал все, что хотел.

3

...Уже четвертый по счету прохожий охотно указывал Суришару дорогу к хану хромого Кумара – каждый раз отправляя молодого шах-заде в противоположную сторону; и каждый раз юноша неизменно возвращался в один и тот же грязный переулок, зажатый между косыми дувалами, за одним из которых при его появлении слышалось злорадное козье

меканье.

Когда юноша оказался в переулке в четвертый раз, уже начало смеркаться. Откуда-то налетел колючий, совсем не южный ветер, швырнул в лицо пригоршню мелких дождевых капель. Капли были похожи на слезы, и шах-заде, чуть не плача от бессилия, так и не понял: дождь ли это, или глаза все-таки предали наследника престола?

А потом сомнения мигом улетучились: ветер ударил крылом, прошелся в брачном танце, взбив пыль смерчками, и следом хлынул такой ливень, что юноша невольно втянул голову в плечи.

Укрыться от грозы в переулке было негде. Да теперь это и не имело никакого смысла: в первые же мгновения Суришар вымок до нитки – не помог ни плащ, ни высокая шапка-калансува с назатыльником.

Ливень же, словно куражась над молодым человеком, вскоре ослаб, но прекращаться и не подумал: верно, решил посмотреть, что юноша станет делать дальше.

Бродил вокруг, погромыхивал, молнии гонял туда-сюда: эй, человек, ну спляши, что ли, все веселее!.. и злорадствовала невидимая коза за дувалом, чтоб ей сдохнуть, проклятой!

Окончательно пав духом и махнув на все рукой, шах-заде побрел прочь, куда глаза глядят, поминутно оскальзываясь в грязном месиве... чтобы минутой позже встать столбом, разом забыв про дождь и холод.

У выхода из переулка шел бой.

Не на жизнь, а на смерть.

Круторогий баран, чья шерсть неестественно блестела от осевшей на ней влаги, сражался за свою баранью жизнь с голодным псом.

«Ну вот, где еще по улицам беглые бараны разгуливают?» – вяло удивился шах-заде, но тем не менее остановился посмотреть, чем окончится странный поединок.

Поначалу казалось, что пес обязательно возьмет верх: вот он вцепился барану в шею, мощные челюсти сжались мертвой хваткой... Однако, вопреки здравому смыслу, на его рогатого противника это не произвело особого впечатления. Баран встряхнулся, весь в брызгах, легко сбросил с себя пса и так наподдал ему вдогонку рогами, что зубастый любитель свежатины со всего маху шмякнулся о ближайший дувал! Не давая врагу опомниться, баран коротко разогнулся и живым тараном врезался в затравленно скулившую собаку. Захрустели кости, пес истошно завизжал, а баран, не останавливаясь на достигнутом, продолжал с яростью топтать содрогающееся тело острыми раздвоенными копытами. Хруст, визг, – шах-заде, не веря своим глазам, наблюдал, как пес в последний раз дернулся и затих.

Победное блеяние огласило переулок, ударились о дувалы, притихшие в испуге, а затем баран наклонил голову и принялся рвать поверженного врага своими плоскими зубами, время от времени жадно глотая кровоточащие куски со-

бачатины!

Суришар мимо воли отступил на шаг – и в этот самый момент баран на миг оторвался от жуткого пиршества. Взгляд его налился пурпуром, два огня зловеще засветились в сумерках и уперлись в наследника кабирского престола, не суля молодому шах-заде ничего хорошего.

Баран утробно заурчал и вразвалочку двинулся к юноше.

Уже не думая о своем достоинстве и о том, как будет смотреться со стороны наследник престола, удирающий от барана, шах-заде развернулся и помчался со всех ног. Позади мерно цокали копыта. Юноша бежал что есть мочи, но цокот копыт неотвратимо приближался. Улица впереди раздваивалась, и Суришар инстинктивно замедлил бег в нерешительности: куда свернуть?

Однако раздумья юноши были недолгими: чувствительный удар пониже спины направил шах-заде в левый проулок, а ноги сами понесли дальше. Проулок круто свернул вбок, и Суришар, следуя его изгибу, с разгону выскочил на маленькую площадь – где и налетел на какого-то кряжистого горожанина.

– Тише, юноша, подобный вспышке молнии во мраке... – ухмыльнулся тот, рассудительно подытожив: – Так и зашибить недолго!

Сполох молнии высветил его лицо, бросил отблеск на ладонь, которая неторопливо оглаживала бороду; и Суришар задохнулся, благословляя судьбу в облике хищного барана.

«...Трепанный такой мужик, борода клоками, шрам на роже, и двух пальцев на руке не хватает!..»

— Попался! — счастливо возвестил шах-заде и потянул из ножен саблю.

4

...подковы небесных всадников грохотали вдалеке, суля грозу. Но Абу-т-Тайиб не внял этой угрозе. Он вдруг решил покинуть чайхану, сей приют обремененных голодом и жаждой. Без видимой причины. Можно было уйти, можно было остаться и заказать еще гранатового сока, от которого плясало чрево и сводило скулы; можно было вернуться в келью постоянного хана и лечь спать. Можно было все. Чуть ли не впервые в жизни; так бывает, когда ты вдруг понимаешь, что Аллах дал тебе душу в залог отнюдь не навсегда, понимаешь остро и ярко, до сердечной боли и ледяного, темного спокойствия. Именно поэтому старый поэт капризничал в мелочах, изводя навязавшихся спутников и тайно радуясь действительности. Есть люди, с которыми ты не знаком и которые твердо знают, что тебе надо делать и куда тебе надо ехать. Не счастье ли? Е рабб, тебя провозглашают шахом и валятся в ноги? — даже если маг с бородавкой безумней весеннего павлина, какая разница? Да, халиф на час! А там... там видно будет. В шахский венец он верил не больше, чем во встречу с птицей Рох, но к чему искушать судьбу и Алла-

ха?

Или скажем иначе: стоит ли лезть со своим пеналом в чужую медресе? Жизнь продолжается, а в последние годы он редко загадывал больше чем на день вперед.

Этот день прошел.

Маг и девушка безропотно последовали за ним, когда он поднялся из-за стола. И Абу-т-Тайиб отметил про себя, что уже начал к этому привыкать – к неотвязной парочке, к их послушанию и повиновению: у старика – вполне искреннему, у девушки же... с норовом девица!

Такие ему нравились.

О них хотелось слагать стихи, звонкие, словно дамасский клинок, журчащие, будто река на перекатах; а для ложа вполне годились другие, послушные и искусные.

Под ногами чавкала грязь, подражая нечистому животному свинье; дождь выждал, пока люди окажутся под открытым небом и отойдут подальше от чайханы, чтобы припустить изо всех сил. Куда идти, Абу-т-Тайиб еще не решил; и после долгого кружения по улицам, в котором смысла крылось не более, чем в послеобеденной отрыжке, он остановился, поджидая своих спутников. Те не торопились, и мокрый до нитки поэт успел вволю поразмышлять о странностях Медного города: создавалось впечатление, что не люди идут по улицам и переулкам, а город водит людей сам по себе, играя в сложную игру с непредсказуемым результатом.

Как они тут живут, местные горожане?.. и льет, льет – когда прекратится?!

Почти сразу из-за угла и вылетел сломя голову молодой человек, как если бы за беднягой гналась целая свора ифритов, и с размаху врезался на поэта.

К счастью, оба устояли на ногах и никто не шлепнулся в лужу.

– Тише, юноша, подобный вспышке молнии во мраке... – Абу-т-Тайиб справедливо решил, что выбрал неудачное место и время для красноречия, а посему закончил просто:

– Так и зашибить недолго!

В ответ скороход самым невежливым образом уставился ему в лицо – остатки зубов пересчитать хотел, что ли?! – затем отшатнулся и с возгласом «Попался!» выхватил саблю.

Поэту даже показалось сгоряча, что это пылкий жених-бедин восстал из могилы и догнал его по ту сторону жизни, дабы свести счеты. Высверк клинка над головой оставлял мало времени для раздумий, а умирать во второй раз не хотелось – вряд ли тебе заново предложат шахский венец! Удар был хорош, и направо его безумный юноша как надо, наискосок – лежать бы Абу-т-Тайибу в грязи, разрубленным от ключицы до... в общем, все равно уже, до чего.

Тем паче, что машрафийский меч, за который поэт отдал в свое время блюдо полновесных динаров, остался там, в самом прошлом.

К счастью, юноше непременно хотелось снести с плеч

мерзкую голову со шрамом на скуле. Желание вполне здоровое и даже благословенное: потому что, когда поэт в последний момент бухнулся на колени, клинок со свистом прошел над его укзаем, подбрав ворсинки ткани.

Прошлое скрыл мрак, где пахло мокрым войлоком, будущее рассмеялось с отчетливым привкусом безумия; и час нынешний стал всем временем сразу, от сотворения до гибели мира.

Мира по имени Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби.

– Ты тоже хочешь насладиться «серым» хвалебным мадхом?! – тихо спрашивает Абу-т-Тайиб, чувствуя, как страшно горят от падения колени, изодранные пещерой; и еще – как закипает внутри то варево, хлебнув которого ты можешь отрезать обидчику губы и заставить бывшего владельца съесть их без соли и куфийских приправ.

Выпад. Прямо в лицо. Сабля плохо приспособлена для таких игр, но рука юноши тверда, и приходится снова издеваться над своими коленями. А также наскоро вспоминать полузабытую науку «детей Сасана» – братства плутов и ловкачей, чья забота в свое время прикрыла поэта от гнева халебского эмира. Шаг, нарочито грузный, снова шаг, подошва сапога скользит по земле, проворачиваясь на носке; и край халата, обласканный сабельным лезвием, повисает хвостом шелудивого пса... жалко, но своя шкура дороже.

– Тише, юноша, подобный блеску молнии во мраке...

Удар.

Злой, бешеный, и оттого бессильный.

*– ...наслаждению в пороке, дивной пери на пороге,
Нитке жемчуга во прахе...*

Удар.

*– Сладкой мякоти в урюке, влаги шепоту в арыке,
Просветленью в темном страхе...*

Возраст неумолимо берет свое, хрипло посмеиваясь втихомолку, набивая грудь ветошью, а суставы – железной крошкой, но «сасанская пляска» все длится, подменяя юность памятью, памятью о славном ловкаче Али по прозвищу Зибак, что значит «Ртуть», и о его повадках, следить за которыми было привилегией избранных.

И еще: нутром, чутьем битого бродяги поэт понимает, что убить горячего юнца легко, заставить съесть собственные губы – трудно, но можно; а то, что происходит сейчас, стократ жесточе и первого, и второго.

*– Башне Коршунов в Ираке, мощи буйволов двурогих,
Шелесту ручья в овраге...*

Ливень хлещет сотней плетей по спине, по стене, по гли-

няным дувалам, истрепывая вдребезги пространство, и хвала Аллаху за сей ливень, ибо сволочной юнец привык биться на твердой земле и даже скорее всего под аплодисменты зрителей.

Грязь не для него.

Грязь уравнивает годы.

– Доброму коню в дороге, невреджённому в смертной драке –

Но невольницей в остроге ждёт душа...

О благословенная грязь, в которой Абу-т-Тайиб должен был найти последний приют, второй после самума! – беспалая ладонь мимоходом зачерпывает полную горсть тебя, о дивная, бесконечно грязная грязь; и подарок отправляется прямиком в лицо юноши.

Простые средства всегда самые действенные: например, кровопускание или прижигание. Или липкая жижа в нужное время и нужное место. Юноша бестолково взмахивает руками, видимо, окончательно ощутив себя сизым кречетом, плюется, рычит – и тяжелый кулак основательно ласкает сперва плоский живот буяна, а затем и затылок.

Сабля верткой шукой плюхается в лужу. Сам же юноша грузно валится в ноги поэту, валится крайне неудачным образом, мешая продолжить мадх и, что главное, сшибая наземь, поскольку левое колено подвело-таки владельца... а дождь радостно скачет вокруг, стегая наотмашь копошащи-

еся тела.

Минутой позже тел становится трое.

А еще спустя миг, короткий и полный яростного движения, драчуны выясняют новое обстоятельство: они стоят на четвереньках в семи локтях друг от друга, а между ними стоит баран.

Здоровенный баран очень мрачного вида; и в свете очередной молнии шерсть его отлиывает синеватым золотом, а глаза явственно мечут искры.

Чуть поодаль молчат маг с девицей, и холодные струи текут по их лицам ручьями; но руки так ни разу и не поднялись отереть воду.

Зато дождь вскрикивает, эхо отдается за горами, и небо перестает рыдать.

Тишина.

Баран сурово глядит сначала на поэта, потом на юношу, потом оброненная сабля ломается под тяжелым копытом, и незванный миротворец бредет восвояси, раздраженно бляя.

Маг делает шаг вперед.

– Фарр-ла-Кабир не спешит, но везде успевает, владыки мои! Мы поедем домой все вместе. Знакомься, о избранник судьбы: это теперь твой названный сын, шах-заде Суришар. И ты знакомься, шах-заде: перед тобой будущий шах Кабира!..

Будущий шах встречается взглядом с названным сыном и вдруг чувствует себя молодым.

Совсем молодым.

Такая замечательная ненависть горит во взгляде шах-заде.

Касыда о величии

Величье владыки не в мервских шелках, какие на каждом купце,
Не в злате, почившем в гробах-сундуках, – поэтам ли петь о скупце?!

Величье не в предках, чьей славе в веках сиять заревым небосклоном,
И не в лизоблюдах, шутах-дураках, с угодливостью на лице.

Достоинство сильных не в мощных руках – в умении сдерживать силу,
Талант полководца не в многих полках, а в сломанном вражьем крестце.

Орлы горделиво парят в облаках, когтят круторогих архаров,
Но все же: где спрятан грядущий орел в ничтожном и жалком птенце?!

Ужель обезьяна достойна хвалы, достойна сидеть на престоле
За то, что пред стаей иных обезьян она щеголяет в венце?

Да будь ты хоть шахом преклонных годов, султаном
племен и народов, –
Забудут о злобствующем глупце, забудут о подлеце.

Дождусь ли ответа, покуда живой: величье – ты средство
иль цель?
Подарок судьбы на пороге пути? Посмертная слава в
конце?

**Глава пятая,
где слышится скрежет зубовой,
пахнет заговором, воруются пеналы
из мореной черешни, жрецы
увлеченно ползают на коленях, а в
довершение всего ангел Джибраиль
так ни разу и не появляется на
страницах этого повествования**

1

Зубы болели так, словно по каждой челюсти весело скакала дюжина шайтанчиков, топоча копытцами. Хотелось разодрать десны ногтями, разодрать до самых пяток и выковырять все, что может болеть, включая сердце и печень. Коро-че, едва мучительный прилив отступал, откатывался в безбрежный океан пекла, где ему и место, Абу-т-Тайиб чувствовал себя заново родившимся и с трудом переводил дух.

После чего в очередной раз связывал нить предыдущих размышлений, оборванную приступом, и продолжал кругами бродить по покоям.

Он — шах. Этот, как его... Кей-Бахрам. Трам-тарам. Странник по мирам, расположенный к пирам. Имя выглядело чужим, его можно было взять в руки и потрогать, с содроганием ощутив шероховатость и заусенцы по краям. Оно и было чужим, данное ему вчера имя. Чужим было все: дворец, покои, преклонение и раболепие, судьба была чужой, одежда, надежда... Пока все идет хорошо, как говорил один мулла, падая с минарета.

Пока все идет хорошо.

Абу-т-Тайиб еле сдержался, чтоб не хватить кулаком по столу, инкрустированному нефритом и яшмой; потом пожалел себя и стол. Кулаки не помогут, хоть в кровь разбей. Ты — шах, мой красавец! Пусть имя твое на айванах царит, и счастье немеркнущим светом горит над родом и краем, и радостью твоей, и ликом, и царственной статью твоей! Во всяком случае, так утверждают твои верноподданные благодетели, утверждают в один голос, стремглав падая ниц, как если бы твое шахское величество пинало их под коленки. Будь счастлив, мой дорогой халиф на час; обжирайся дармовым сыром, пока рычаг мышеловки не привел в движение грубую прозу бытия.

В последнем поэт не сомневался.

Абу-т-Тайиб подошел к столу и налил себе в кубок из серебряного кувшина, покрытого тонким кружевом черни. Как-кая-то добрая душа с вечера наполнила кувшин кисленьким отваром, совершенно не хмельным, и даже наоборот: голова

после него становилась ясной, а зубная боль слегка отступала. Поэт отхлебнул глоток, потом прополоскал рот и сплюнул в угол. На ковер. На роскошный ковер с орнаментом из пурпурных и лиловых ромбов. Шах он или не шах?.. по всему выходило, что шах, плюй-не-хочу.

Следующий глоток легко скользнул по горлу в желудок. А поэт вдруг припомнил, как после очередного перевала в горах без названия мир вокруг него мигнул. Ощущение было странным, словно предстояло давать новые имена старым знакомым, а душа вдруг стала курильницей из белой меди, пустой и звонкой. Но они вскоре поехали дальше – и поэт вновь постарался задремать в седле. Урвать хоть крупичку отдыха, благо есть возможность. Ночами на привалах он мучился бессонницей: вслушиваясь в каждый шорох, подсакивая от дуновения ветерка. Причина была проста. Абу-т-Тайиб давно утратил наив юности, и теперь справедливо полагал в новообретенном названном сыне искреннее желание – перегрызть глотку названному папаше при первом удобном случае. На сторожевые достоинства мага с бородавкой, а уж тем более дерзкой девицы, поэт полагался слабо. Зато на остроту ножа Суришара... ох, тут и заснул бы, а не могуту! Уж больно явственно вспыхивали глаза мальчишки, когда взгляд его будто случайно падал на Абу-т-Тайиба, бродягу, укравшего у шах-заде отчий венец!

Сам поэт тогда еще не верил ни в какие венцы, кроме венца сумасшествия на головах спутников. Он просто ехал ря-

дом с ними, рассчитывая облобызать всю троицу, едва они доберутся до торговых дорог – и никогда больше не встретиться с удивительной компанией.

В Медном городе поэт на базаре встретил троих дар-ас-саламцев, в постоялом хане успел переговорить с басрийским цирюльником, которого шальная судьба занесла сюда пять лет тому назад – и способ возвращения домой казался простым и верным. Поэт катал на языке это сладкое слово «домой», впервые ощущая его подлинный вкус, вспоминал былую жизнь чуть ли не с умилением, прощая обидчиков, восхваляя друзей, молясь за убитого жениха-бедуина и иных бедняг, чьи головы ему довелось отделить от тел...

Эйфория длилась до тех пор, пока мир не научился моргать.

А спустя еще сутки их встретила толпа вельмож, разоде-тых пышной слив в цвету.

– Радуйтесь! – сипло возвестил маг, подымаясь на стременах, и предгорья откликнулись шумным эхом. – Испытание завершено, фарр-ла-Кабир вновь сияет нам в полном блеске! Вот ваш шах!

И первым слетел с седла, дабы простереть ниц свое почтение перед убежищем власти, в смысле перед лошадыю Абу-т-Тайиба.

Мгновением позже выяснилось, что путь домой изрядно осложняется, если не откладывается вовсе, а безумие старца заразной чумы. С кликами радости благородные госпо-

да принялись освобождать коней от тяжести своих благородных задниц; и вскоре Абу-т-Тайиб мог вдоволь любоваться ягодицами и спинами, обтянутыми шелком и парчой. Последним пал ниц драчун Суришар, так и не сделавший попытки на привале сунуть нож в бок оскорбителю. Лошадь поэта пятилась, справедливо пугаясь открывшегося ей зрелища, сам Абу-т-Тайиб прикусил палец изумления зубами сдержанности, и на ум не приходило ни одной путной идеи.

Велеть им подняться?

Развернуться и поскакать прочь?!

Сделать вид, что ничего не произошло?.. ха! – легче сказать, чем сделать.

Пришлось выпутываться обычным способом.

– Э-э-э... негоже достойным валяться в пыли, усами дороги мести. – Пехлевийские слова, став привычными за неделю пути, сейчас спотыкались хромыми мулами; было стыдно. – Негоже великим владыкам земли... земли... от слуг только лезть обрести! Поклон не позор, но позорней стократ...

Хвала Создателю миров! – они начали подыматься. И можно было замолчать. Захлопнуть пасть, надежно укрыв окостеневший язык, не способный родить рифму к слову «стократ»; продолжить путь в шелесте и гомоне, в неподдельной радости, в искреннем обожании, в сладости сердец, распахнутых навстречу повелителю.

Вчера его торжественно возвели на престол; весь город, который местные жители звали Кабиром, ликовал и пил за

здоровье владыки.

Он – шах, Кей-Бахрам.

И все же он – Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби. А посему плохо верит в обожание и сладость сердец, в динары, щедро рассыпанные под ногами, и в суку-удачу, когда та сама лезет в руки; ты ее отталкиваешь, пинаешь острым носком сапога, а она лезет, тычется мордой, скулит: «Возьми!»

В такую удачу поэт не верил вообще.

2

...зубная боль вновь уходит на миг, и миг кажется вечностью, особенно когда ты знаешь: быстрее всего заканчивается именно вечность.

Остановись.

Хлебни отвару, огладь бороду; заставь мысли бежать в нужном направлении.

Иначе... иначе нельзя.

Итак: что остается предположить? Первое – он, несчастный дурак, застигнутый врасплах самумом, благополучно скончался от удушья, от тяжести песка, и сейчас видит дурацкий смертный сон. Истлевая под мавзолеем пустыни. Сон противоречит общим представлениям о Божьем промысле, но кто намерен оспаривать право Творца на шутку? – и вообще: какие сны в том смертном сне приснятся?! Может быть, именно такие, с белостенным городом Кабиром и шахским

престолом...

Предположение имело право на существование – но право маленькое, куцее, с горчичное зерно, и Абу-т-Тайиб забросил его в самый дальний угол. Туда, где на стене, в окружении свиты кинжалов, наискось висел владыка-ятаган: роскошный клинок, держать который в руках было подлинно шахским удовольствием.

Вот поэт и держал, уже три раза за сегодня держал, чтоб потом аккуратно повесить на прежнее место.

Второе предположение стоило первого: допустим, он тронулся рассудком. И теперь по Степи Копьеносцев скитается блаженный доходяга, пуская слюни и ворую у бедуинов плошки с молоком вечернего удоя; а видит сей юродивый, как его силком возводят на трон, видит и путается в сомнениях...

Нет.

Что-то не сходится.

Дальний угол пополнился еще одним отброшенным выводом, а поэт принялся за третье предположение.

Все происходит на самом деле. Мир велик, и в нем вполне сыщется место для Кабирского шахства. Где-нибудь на краю света, к примеру, за страной чинов или вообще в Уделе Черных джиннов. Всякому просвещенному человеку известно: знакомыми народами заселена лишь четверть земного круга, а что творится в остальных трех четвертях – ведомо одному Совершеннейшему Благотворителю! Кстати, надо будет

позже спросить... нет, велеть принести ему карту здешних земель! Авось прояснится. Но дело не в карте, а в том, что в Кабире недавно скончался шах. Скончался безвременно, согласно заверениям мага с бородавкой, а шахи безвременно не кончаются – ежели на то нет особых причин. Разговоры о возрасте покойного (и до двухсот лет не дотянул, бедняга – ха!) мы оставим на потом, а сейчас...

Предположим, владыку тихо убрали из государственных соображений. После чего наследники с похвальным единодушием стали отказываться от Испытания, сулящего им венец. Насколько известно под горбатым небосводом, наследники от трона тоже просто так не отказываются – значит, и здесь был свой резон. Даже какой-то Лухрасп мигом слег в горячке, едва собрался съездить за шахским титулом. Камешек ложится к камешку, и умненький-безумненький маг Гургин отправляется за семь фарсангов шербета хлебать, вкупе с самым глупым претендентом на трон и наглой девицей, которой не владык на престолы возводить, а стонать сладким стоном под законным муженьком!

В итоге юный шах-заде должен был остаться в глуши навсегда. Глупый верблюжонок лишь чудом избежал скорбной участи, а на трон... А на трон возвели никому не известного чужака, пред которым вельможи склонились, как перед отцом родным!

У Абу-т-Тайиба потеплели ладони. Он вытер их о халат, оцарапавшись драгоценным шитьем, и продолжил круже-

ние.

Вот, вот оно, рядом, рядышком...

Марионетка на троне, пустышка, перекасти-поле! Вызванный колдовством проклятого Гургина из несусветной дали, глиняная свистулька, куда хозяин-невидимка станет дуть по мере надобности – чтобы вскоре растоптать тяжелым каблуком! И впрямь халиф на час! – только минуты уже бегут, и лишь судьбе известно, какая из них станет роковой... Надо было исчезнуть еще в горах, а сейчас поздно, сейчас даже из дворца выйти не дадут: если догадка верна, то нового шаха сторожат бдительней, чем узника халифских темниц!

Спокойно, Абу-т-Тайиб, спокойно, голова твоя пока еще на плечах! А жизнь – не такая уж потеря, чтобы биться лбом об пол, кляня в отчаянии всех и вся; но жизнь – и не такая уж безделица, чтобы кукла стала рвать нитки раньше времени.

И зубы болят... Е рабб, ну почему зубы болят даже у марионеток, даже у шахов?.. Аллах, прости святотатца – у тебя тоже иногда болят зубы?!

Поэт встряхнулся мокрым псом, отставил кувшин и принудил себя улыбнуться. Что делает связанный по рукам и ногам узник, угодив в зиндан? Сперва глаза должны привыкнуть к мраку ямы, после стоит вслушаться в шаги над головой... опробовать на крепость веревки, проверить узлы – к птице свободы подкрадываются исподволь, ощупью, боясь спугнуть! Это отлично известно тем, кто больше месяца гнил в зиндане эмира Бахара, да прогрызут черви насквозь

его ядовитую печенку! Интересно: а если я сейчас велю собрать военачальников и объявлю Бахару войну? Молодец, стихоплет, быстро осваиваешься... Будем считать, что к мраку привыкли и в шаги вслушались. Пора осмотреть веревки, дернуть цепи: нет ли изъяна в каком звене?

Сунув ноги в теплые кауши, расшитые золоченой канителью, Абу-т-Тайиб подошел к дверям покоев. Сегодня он еще ни разу не выходил отсюда; впрочем, он вообще ни разу не выходил отсюда – шахом. Куклу делали, наряжали, а затем она до поры легла в сундук. Итак...

Двери отворились без скрипа, от малого толчка ладонью, и из коридора в лицо пахнуло сырой прохладой. Тишина. Лишь в отдалении слышна глухая воркотня, но слов не разобрать, и ничего не разобрать: то ли люди разговаривают, то ли кони фыркают, то ли голуби... А вот теперь слышно: дышат. Сипло дышат, вполгруды, стараясь помешать воздуху заклокотать в глотке, выйти нутряным храпом.

Выберемся-ка наружу, поглядим, кто это тут у нас дышит?

Коридор оказался скорее галереей (вчера не разглядел, вчера было не до того!). Ряды сводчатых ниш, в глубине каждой теплится малая лампадка, дрожа язычком пламени – десятки змей трепещут огненными жалами, и стены между нишами кажутся перламутровыми от мельчайших росписей, татуировки от пола до потолка. А по обе стороны дверей в шахские покои замерли великаны. Двое, точно Яджудж и Маджудж. Сизые от бритья макушки увенчаны пуговка-

ми-тубетейми, кожаные безрукавки накинута прямо на голое тело, и кушаки из сиреневого бархата многослойно намотаны поверх шальвар, где обычному человеку утонуть проще, нежели в морской пучине. Торсы великанов обильно смазаны маслом, остро пахнет мускусом и мужским потом, и лоснятся бугры мышц, текут волнами, выются клубками удавов...

Стража.

«Ясное дело, стража! – одернул Абу-т-Тайиб сам себя. – А ты чего ждал, глупец?! Дервишей с просьбами о подаянии?! Черных зинджей с кольцами в ноздрях?!»

Он вразвалочку вышел из покоев. Качнулся с пятки на носок, задумчиво возведя очи горе, и наконец обернулся к великанам. Те, выкатив маслины глаз, стояли недвижимо, лишь убрали к ноге шипастые герданы – палицы, способные расплющить гору Каф.

– Ну-ну, – буркнул поэт, чтоб хоть что-то сказать. – Ишь, вымахали, на казенных-то харчах...

Великаны не ответили. Вероятно, не поняли: последнюю фразу Абу-т-Тайиб произнес на языке Корана.

И не сдвинулись с места, когда новый шах Кабира медленно, с подчеркнутой ленцой, зашагал по коридору.

Один узел на поверку оказался слабоват, да и узлом его назвать было трудно. Если, конечно, все это не притворство или шутки кукольника. Стараясь отрастить себе уши на спине, поэт насквозь пересек галерею, резко свернул налево,

откуда донесся женский смех; но вскоре передумал и наугад нырнул в темный переход. Тот закончился тупиком, где вверх тянулась винтовая лестница, плита за плитой нависая над идущим. Как вскоре выяснилось, вела лестница в круглую башню: достаточно было толкнуть кованую дверцу, и ты попадал в полусферу с четырьмя прорезями бойниц. Если глянуть в северную прорезь – отчетливо виднелся край соседней башни, рубцы ее кладки; из бойницы западной просматривались сады предместий, плавно сползающие в долину.

К остальным бойницам поэт подходить не стал. Так, сунул любопытный нос в стенные ниши: оловянная чашка с гнутым краем, стеганный колпак... Сквозняки гуляли в башне, гуляли вольно, забираясь под халат, и впору было радоваться надетым с утра чулкам из теплой шерсти. Не в его возрасте сдаваться на милость этим продувным бестиям. В крайней нише обнаружился роскошный пенал из мореной черешни, сплошь расписанный мельчайшей вязью, ветками и цветами. Серебряная цепочка приковывала к пеналу чернильницу о шести гранях, сделанную из желтой бронзы. Рядом, скрученный жгутом, лежал шелковый платок – заворачивать сокровище. Воровато озираясь, Абу-т-Тайиб сунул находку за пазуху, туго подпоясав халат (чтоб не выпала!); и передумал. Достал, обмотал платком и демонстративно понес в руке.

Шах он или не шах?!

А значит, по праву может без зазрения совести присваи-

вать и отбирать!... где ж это видано: совесть у шахов?

Внизу, у подножия лестницы, его ждали двое телохранителей. Не великаны, другие: сухие, поджарые усачи с кинжалами на поясах. Они молча потащились следом – переход, галерея... В присутствии охраны не было ничего особенного, владыку обязаны сопровождать доверенные люди, блюдя его пуще зеницы ока; и все-таки это раздражало старого поэта.

Хуже зубной боли.

«Надо будет ввести хождения в народ, – решил Абу-т-Тайиб, возвращаясь в покои и любуясь краденым пеналом. – По примеру великого халифа Харуна Праведного. И непременно под чужой личиной, без охраны. Брать одного спутника. Да хоть того же Гургина! От него и избавиться в случае чего будет легче легкого...»

Поэт лгал сам себе; и знал, что лжет.

Избавиться от Гургина, от мага с бородавкой, от делателя владык... Кстати, как советуют поступать с тем, от кого покамест не можешь избавиться?!

И дверь покоев распахнулась снова.

– Гургина ко мне! – рявкнул шах Кабира. – Немедленно!

И сморщился вялой грушей: шайтанчики вновь заскакали по деснам.

– Я желаю тебя облагодетельствовать.

Маг молчал и смотрел в пол. На котором только что лежал плашмя; а Абу-т-Тайиб еще и обождал минуту-другую, прежде чем велеть Гургину подняться.

– Цена твоя стала великой в наших глазах, и явная истина блеснула во мраке: ты – мой собеседник и друг, ты мой близкий и товарищ! Короче, я назначаю тебя своим вазиргом, советником, к чьим советам охотно преклоню слух! Ну, ты счастлив?

Вместо счастья тень набежала на лицо мага. Он потянулся было к бородавке, но раздумал, и старческие пальцы крепче вцепились в посох с остроконечным концом из металла.

– У моего шаха уже есть два вазирга: Отец Казны и Господин Приговоров. Они имели честь служить еще предшественнику моего шаха, будучи искушенными в мирских делах. Я же никчемный хирбед, раб Огня Небесного, и познания мои в управлении государством не стоят и горсти проса.

– О твоей богопротивной ереси мы поговорим позже, – Абу-т-Тайиб оценил гримасу недоумения на лице мага и ухмыльнулся про себя. – Если Аллах терпел это ваше идолопоклонничество до сих пор, то потерпит еще немного (да будут мне прощены дерзкие речи!). А Отец Казны и Господин Приговоров будут просто счастливы узнать, что я... в смыс-

ле, великий шах Кей-Бахрам, утверждаю пост главного вазирга. Наиглавнейшего!

Тень на лице мага сгустилась, мглой заполняя ущелья морщин, сдвигая брови так тесно, что складка между ними напомнила букву «шин»; и наконецник посоха со скрипом разодрал основу ковра.

– Владыка переоценивает мои старания. Я готов служить кабирскому трону словом и делом, но кулах слишком тяжел для моей головы!

– Кулах?

В ответ Гургин указал на стол, где валялась неразвязанная чалма Абу-т-Тайиба. Поверх нее был надет венец белого золота: зубчатый круг, центр которого украшало стилизованное изображение солнца.

По всей длине венца бежала россыпь крупных жемчужин; каждая третья или пятая – черные.

Капли адской смолы.

– «Книга шахов» гласит, – тихо произнес Гургин, и голос мага дрожал аккордом, взятым на расстроенной лютне, – что к тем, кто низок по происхождению, волей владык приходят перстень, пояс и кулах. Твой же кулах, о мой владыка, есть прообраз фарр-ла-Кабир, да сиять ему вовеки!

– И если я хочу назначить кого-то вазиргом или, к примеру, хлебодаром, то я вручаю ему должностной кулах, пояс...

– И перстень. Зато если мой шах гневается на своих слуг великим гневом, он отбирает указом знаки власти, и зло-

умышленники скорбят скорбью неправедных! Замечу лишь, что хлебодарам знаки власти не пристали; в отличие от советников-вазиргов, полководцев-спахбедов или сатрапов и марзбанов, правителей областей внутренних и пограничных.

– Отлично! – Абу-т-Тайиб подмигнул магу с искренним весельем. – Значит, мы закажем для твоей дряхлой головы самый маленький кулах, легкий, невесомый... Ты понял меня, вазирг Гургин? Эй, кто там?! Кулах мне и пояс – то бишь не мне, а моему любимцу Гургину, да пребудет его бородавка вовек не зудящей!

И тут случилось странное: маг побелел, будто тень на лице Гургина внезапно оборотилась первым инеем. Губы его мелко задрожали – и старец плюхнулся на колени, уронив посох. Мутная слеза выкатилась из уголка левого глаза, вприпрыжку пробежав по щеке и утонув в прядях бороды, а взгляд стал походить на взгляд древней собаки, которой за верную службу предлагают отравленный кус требухи.

– Владыка! – Вскрик мага треснул надвое, и черепки слов градом посыпались на изумленного поэта. – Владыка! Готов служить, готов стоять у трона... коленями на горохе стоять готов! Не назначай вазиргом! Оставь при себе, оставь конюшим, метельщиком, цирюльником, кем угодно!.. прости раба своего! Прости!

– Да что ты! Встань, встань... – Если шах Кабира и ожидал чего-то, так уж никак не подобного самоуничтожения. Он подхватил мага под мышки, но старец подыматься не хо-

тел, упирался, а под конец даже лег ничком, продолжая бормотать о своей готовности руками выгребать отхожие ямы, лишь бы не надевать кулах вазирга.

Пришлось брать полный кубок и отпаивать Гургина, заливая ему рясу и ласково поглаживая по костлявому плечу.

Наконец старец утомился и прекратил всхлипывать.

– Ты похож на одного моего знакомого, Гургин, – бросил Абу-т-Тайиб, заложив руки за спину и расхаживая по покоям. – Он посмотрел утром на рабыню соседа, и та была для него запретна; в полдень он ее купил, и рабыня стала для него дозволена; к вечерней молитве он ее освободил, и девушка вновь стала для него запретна; на закате он женился на вольноотпущеннице, сделав ее дозволенной для себя, чтобы ночью развестись и сделать бывшую жену запретной; а утром он вновь заключил с ней брак, и она стала ему дозволена. Короче, ты сам не знаешь, чего хочешь. Ладно, будь по-твоему: оставайся при мне советником, а златой кулах мы придержим в стороне до лучших времен.

Ощущение было не из приятных: маг вдруг качнулся к поэту и истово ткнулся губами в ладонь, прежде чем Абу-т-Тайиб успел отдернуть руку.

Губы старца были мокрыми и шершавыми.

Как у верблюда.

**Глава шестая,
где можно удивляться,
можно сочувствовать, можно
преисполниться восторгом или
ощутить гнев, а можно ничего
этого не делать, и заняться любым
другим делом, о чем здесь не
сказано даже единым словечком**

1

Вызов во дворец застал Суришара в его загородном имении. И застал, надо сказать, врасплох. Юноша как раз сидел на перилах веранды, задумчиво изучая расположение фигур на шахматной доске. Напротив замер управитель: щуплый евнух-коротышка, который по сей день не располнел вопреки обычаям среднеполых, зато успешно превращал дом в полную чашу. Евнух ждал возгласа «Шах!», ждал дольше обычного, и дождался – только от гонца, а не от хозяина.

– Шах хочет видеть названного сына, да будет благо им обоим!

Мигом дом закипел, словно забытый на огне котел с похлебкой. Что надеть? С ума сошли: узорчатые шальвары? парчовую джуббу?! сапоги из крашеной юфти?! Ни за что! Сочтет щеголем, решит, что достаток выпячиваю... Холщовая рубаха и такие же штаны?! Болваны! Недоумки! Дети ослицы и тарантула! Кто же ездит во дворец, одетый в холст и дерюгу?! Живо, живо, раскрывайте сундуки, вываливайте добро, сам разберусь...

И не прошло часа, как копыта чалого жеребца, купленного в Медном городе, выбили шальную дробь о плиты внешнего двора.

Расплескивая весеннюю грязь, шах-заде бурей вылетел на дорогу, ведущую к западным воротам Кабира, и понесся вскачь. Далеко позади оставались арбы, крытые войлоком-двуслойкой, груженные просом телеги, гурты ослов с мелкой поклажей, паломники в островерхих куколях и караван торговца-оразмита; чалый мерил пространство, вытянувшись струной, а шах-заде подставлял лицо пронзительному ветру, и душа пела птицей бульбуль:

– Быстрее! Еще быстрее!.. Владыка хочет видеть названного сына...

Еще во время обряда помазания, когда представители всех четырех сословий пали на колени пред новым шахом, Суришар понял – Огонь Небесный нарочно искушал его. Плеснул в глаза сиянием ложных надежд, одурманил мозг тщеславием, заставил дерзновенно кинуться на того, чье че-

ло отмечено судьбой и фарр-ла-Кабир! Видать, сильно прогневал святых покровителей самонадеянный шах-заде, живым выйдя из пещеры Испытания и вместо благодарности взлелея гадюку мести, если понадобилось сбрасывать его с вершин гордыни в бездну покаяния... О Кей-Бахрам! Вели отправиться в ссылку! Вели гнить в темнице до скончания веков! Вели в одиночку пойти на дэвов Мазандерана!

Исполню не колеблясь!

Несся чалый, приближались городские рвы, где тяжело плескалась желтая муть, исполинами вырастали стены, издали отблескивая то булатной синевой, то ржавым налетом; более светлые камни арки ворот казались зеленовато-сизыми, будто патина на старом серебре – несся чалый, наслаждаясь скачкой, и плетъ так ни разу и не обласкала конские бока.

К чему?

– ...По зову владыки!

– О, шах-заде Суришар! Конечно, конечно, мы сейчас проводим!

Куда его ведут?! Задний двор, террасы, галереи, вереницы низеньких комнат, чьи стены обиты кедровыми досками, диваны с полосатыми тюфяками, снова двор, галерея, фонари из резного кипариса растопырились летучими мышами... в темницу! Его ведут в темницу!

Сбылось!

– Прошу, сиятельный шах-заде! Владыка велели не меш-

кая...

На длинных стойках развешано белье для просушки. Ис-
поднее: плещет шелком крыльев, тончайшей бязью опере-
ния – белое, розовое... всякое. Рядом каменный домик, и
из стенных проемов грозно скалятся львиные морды, отры-
гивая струйки воды. Войдешь в дверь, и боязно ступать по
роскоши мозаик: прямо под сапогами лежит нагая красави-
ца, бесстыдно обливая щедрую плоть из кувшина – топчи,
гость! Мраморные скамьи сами кидаются навстречу: садись,
скинь одежду, улягся распаренным телом, подстелив цинов-
ку, доверься умелым рукам слепцов-массажистов!

Надежды на благодать темницы, на искупление грехов и
очищение совести рухнули горным обвалом.

Вдребезги.

– Владыка изволят посетить баню! Но относительно шах-
заде было велено: пропустить без задержки! Ну куда же вы,
куда!.. в сапогах, в халате...

Суришар потянул из-за кушака нож, чьи ножны и сереб-
ряную рукоять густо усыпали зерна бирюзы, после чего при-
нялся разматывать сам кушак. За угловой дверцей вовсю
звякала медь кувшина, тихо струилась вода и доносилось
счастливое кряканье. Не так представлял себе шах-заде офи-
циальную встречу с властелином Кабира: своды парадной за-
лы, ряды царедворцев застыли в торжественном молчании,
и вот он, шах-заде – с достоинством принимает опалу, под-
ставляя шею под карающий меч истинного правителя, на-

званного отца! Дудки! – в смысле, именно дудки, а не трубы или карнаи. Где уж тут с достоинством подставить, если ни царедворцев, ни залы... подставишь, а лишенный шальвар зад выпятится куриным огузком, подло намекая: пни! приложишь пяткой! ну же!

Оставшись голым, Суришар совсем заскучал.

И, в тоске обмотав чресла передником, нырнул в пар, журчанье и криканье.

Зрелище потрясло юного шах-заде: обладатель фарр-ла-Кабир ничком валялся на цветастом половичке, а по его жилистой спине усердно топтался банщик, визжа от азарта. Рядом курилось жерло бассейна, доверху наполненного горячей водой. Засмотревшись, шах-заде нечаянно наступил на забытый банщиком обмылок, пятки юноши взлетели к потолку, зато все остальное с грохотом рухнуло на пол.

– А, это ты! – прохрипел шах Кабира, пытаясь вывернуться из-под мучителя. – Молодец, быстро доскакал... Эй, плясун, разомни-ка мне сыночка!

Не успел шах-заде опомниться, не успел отбитые ягодичы почесать, как и под ним чудесным способом образовался половичок, а банщик принялся вовсю пинать и щипать «сыночка».

Эй, поосторожнее! эй! ай! ой!... я ж тебе не тесто в кадке!

Шах меж тем встал и пересел на скамью. Взяв резную доску, он уставился на нее, после задумчиво хмыкнул и почесал волосатую грудь.

Шрам под левой ключицей розовел дождевым червем, распарившись от жары и ласки банщика; еще два червя ползали – один по шее, другой по скуле владыки.

– Эй, юноша, – шах ухмыльнулся и добавил, вогнав Суришара в краску, – подобный блеску молнии во мраке... А скажи мне, дружок, вот что: Пламень-в-Красном-Шлеме – это как понимать?

Суришар наконец скинул с себя банщика-надоеду и рискнул приблизиться к владыке. Сесть рядом он не решился (да и кто бы решился?!), устроаясь на мокром полу рядом с ногами шаха. На сами ноги юноша старался не смотреть: испещренные синими жилами, с пятнами застарелых ушибов, они выглядели недостойными своего хозяина.

Дурацкая мысль, но в бане другие, более чинные и мудрые, мысли как отрезало.

– Пламень-в-Красном-Шлеме? – переспросил шах-заде.

В ответ шах молча сунул ему доску, после чего ночь слепоты сменилась утром ясности. Суришар никогда не считал себя знатоком-звездочетом, он даже гороскопы, которые подсовывал ему евнух-управитель, читал вполглаза, через строку, но вырезанные на доске символы были ясны даже для мальчишки.

Вот Нахид, звезда любви и чадородия, вон Кей-Ван, шах звезд с кольцами фарра вокруг чела, а вон и Пламень-...

– Новое имя владыки – Кей-Бахрам, – юноша поднял голову и встретился взглядом с названным отцом. – А Бахрам

– это и есть звезда Пламень-в-Красном-Шлеме. Багровая такая, будто кровь запеклась... символ воина.

– Миррих-воитель?

– Нет, если по-нашему, то Бахрам. Миррихом эту звезду в Дурбанском султанате зовут.

Внезапно вспомнилось: первым, малым именем владыки было... как он тогда назвался? Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби? Огонь Небесный, имя-то совсем дурбанское! Уроженец тамошних равнин? Да нет, быть не может: вон, фарр вокруг чела так и сияет!

Нимало не заботясь еретическими сомнениями юноши, шах встал, поскреб макушку уполовиненным пальцем; и вдруг с разбегу плюхнулся в бассейн. Брызги взлетели до потолка, и оттуда, из плеска и брызг, донеслось:

– Ладно, Иблис с ними, с именами-звездами! Мудрецы на-мудрили, а мы выясняй... Ныряй лучше сюда, потолкуем о душевной сладости! Говорят, ты стихи слагать горазд?

Шах-заде твердо уверился в грядущей опале. Баня, не баня – все равно. Вопрос о стихах сразу напомнил ему: гроза в проклятом Городе, сабля рубит мимо цели, и строчки хлещут по лицу звонче оплеух. Не зря, видать, шах про «молнию во мраке» намекнул!

– Ну давай, давай, чего насупился! Омоемся большим омовением, ибо оно ключ к вратам рая и палатка света о четырех веревках, а возле каждой веревки ангел поздравляет тебя с легким паром! Иди, приятель, потешь мою душу жем-

чугом красноречия!

Пришлось Суришару вставать с пола, тащиться к бассейну и робко садиться на краешке бортика, свесив пятки в горячую воду. Как он здесь плещется, в кипятке?.. одно слово – владыка!

– Язык проглотил? Смотри, еще минутку промолчишь – петь заставлю!

– Боясь жены, друзей, боясь людской молвы, – начал шахзаде вспоминать первое, что пришло на ум, – боясь назвать кривой ствол дерева кривым... э-э-э... ты все равно кричишь, что ты – венец творенья!..

– Как жаль, что под венцом не видно головы! – в голос закончил шах и расхохотался.

Ответом ему был истошный вопль, потому что от изумления Суришар сполз-таки в горячую воду целиком; и еще потому, что он был потрясен легкостью, с какой владыка играл словами. Сам юноша уже плохо помнил, чем там заканчивалось давнее четверостишие, и собирался импровизировать – пока это намерение не выдернули из-под него скользким половичком.

«А вдруг примет за намек? – обожгла шальная мысль, и кипяток сразу показался холодней горных ключей. – Нет, ерунда, он же сам... ну и что, что сам! Головы под венцом не видно...»

Суришар с опаской покосился на названного отца и действительно ничего не увидел: шах скрылся под водой цели-

ком. Одни пузыри всплывали, словно вода и впрямь закипела. Наконец показалось бритое темя, высокий лоб, где возраст успел проложить немало борозд, затем явились топазы глаз по обе стороны горбатого носа и губы с налипшими на них прядями усов.

– Хороший ты парень, – сказали губы, пока глаза пристально изучали юношу, и взгляд шаха тайно противоречил сказанному, впиваясь жалящей змеей. – Молод еще, правда, горяч не в меру, но это пройдет... к сожалению. Я так Гургину и сказал: хороший, мол, парень, жаль, если зря скиснет! Ну, отвечай, не задумываясь: какой столичный полк самый-самый?!

– Гургасары, – машинально откликнулся шах-заде, плохо понимая, к чему клонит владыка. – «Волчьи дети».

– А раз так, готовься: быть тебе с сегодняшнего дня полководцем-спахбедом, Волчьим Пастырем! Пойдем одеваться, напомним – там тебе уже все приготовили: пояс, перстень и этот, как его...

– Кулах, – подсказал юноша. Слова шаха жарко обтекали его, струясь незримым кипятком; понимание ускользало, виляя хвостом, а карие глаза все смотрели, не отрывались, ждали чего-то... чего?!

– Ага, и кулах. Нацепишь, приберешь своих гургасаров к ногтю, а дальше, глядишь... – Ладонь шаха резко вынырнула наружу и с палаческой цепкостью ухватила Суришара за кудри. Рывок; и вот они лицом к лицу, названные сын и отец, па-

сынки судьбы, дети-ублюдки пещеры в горах без названия. – А дальше, одной прекрасной ночью, поведешь «волчьих детей» на дворец! Охрану вырежешь под корень, их резать, что козий сыр рвать, потом старому дураку башку долой! – придут утром советники с лизоблюдами, а на троне новый шах, Кей-Суришар! Нравится?! Ну, отвечай – нравится?!

Так Суришара не обижал еще никто и никогда. «Серый мадх» показался юноше благословением небесным после этих слов, после этой властной руки и этих глаз, двумя раскаленными иглами впившихся даже не в самое сердце! – глубже, еще глубже, туда, где прячется...

Шах-заде не знал, что у него прячется глубже сердца.

Он просто заплакал.

Слезы текли по лицу, слезы стыда и обиды, соленые капли щекотали уголки рта, и хотелось умереть. Нырнуть с головой в мутную воду, чтобы больше никогда не выныривать в эту проклятую жизнь, где прибой бьет тебя о скалы, не пропуская даже самой завалящей. Соль выедала глаза, а напротив, на бортике бассейна, сидел великий шах Кей-Бахрам; сидел и разглядывал плачущего юношу со странным интересом. Так глядят на площадных акробатов, на мутрибов-лицедеев, раздумывая: что бросить шутам за трюк?

Монету или гнилую сливу?!

– Е рабб, – спустя минуту пробормотал шах, и лицоладыки сморщилось, как если бы он хлебнул уксусу, – ну не может же он... Ладно, парень, забудь! Ну все, все, умойся...

или лучше я тебя сам умою. Быть тебе спахбедом, быть, хватит реветь-то!

И Суришар ткнулся мокрым лицом в чужие ладони, покрытые твердыми мозолями.

2

...пир был в самом разгаре.

Слуги проворно сновали меж столами, блюда исчезали и появлялись словно по волшебству, седло барашка в темной подливке сменялось мясными шариками, переложенными пучками черемши, сладкий фалузадж-медовик соперничал ароматом с джаузабом, где куропатки истекали сладким соусом; и кубки долго не пустовали.

– Уф-ф! – Это было все, что сумел сказать Абу-т-Тайиб, когда подали душистую харису: вид плова, куда вместо риса клали пшеничные зерна.

Есть он уже не мог; и не есть не мог.

Особенно если учесть: поэт и раньше частенько нарушал запрет пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) на вино (да благословит его Аллах и приветствует!) – но здесь из патоки гнали жидкий огонь, позволяя в обход запретов изрядно повеселить душу (да благословит ее Аллах и приветствует!).

Шах улыбнулся, берясь за кубок.

Его новый спахбед, чей дом сегодня был удостоен че-

сти государева визита, просиял в ответ и возгласил замысловатую здравицу. Хороший парень. Начисто лишен греха злопамятства. Абу-т-Тайиб вспомнил, как в бане испытывал Суришара, испытывал жестоко, с палаческим пристрастием, пальцами ковыряясь в сокровенном... Оставалось либо предположить, что местные шах-заде – самые талантливые лицедеи в мире, которым заплакать, что иным высморкаться; либо враг и впрямь стал верным слугой. Если второе истинно, стоит иметь его рядом вкупе с полком «волчьих детей», если же истинно первое...

Е рабб, ненависть в нашей жизни редко сменяется преданностью! – особенно ненависть наследников престола, у которых престол увели самым наглым образом... Об этом думать не хотелось. У жеребчика было меньше всего шансов участвовать в возможном заговоре; меньше всего шансов выжить в горах, где его подло бросили лжепроводники; меньше всего шансов проникнуться любовью к нему, Абу-т-Тайибу! А если он, вопреки очевидному, выжил и проникся, то пускай так дальше все и идет. Пусть стоят плечом к плечу, по обе стороны кукольного трона: хитрый маг и пылкий шах-заде.

Пусть, а там посмотрим, кого столкнуть лбами.

Абу-т-Тайиб честно признался самому себе: игра в «Смерть Шаха» начинает его увлекать. Поэт по-прежнему чувствовал себя молодым. Как тогда, в Городе, когда встретился глазами с юным шах-заде. Жизнь была прекрасна и разнообразна. Бархат штор – и ожидание стрелы из-за каж-

дой; мягкое ложе — и тени ночных убийц; почести в предвкушении публичного разоблачения, здравицы в преддверье проклятий — и дворец на пороге могилы. Все это придавало существованию смысл, наполняло еду доброй толикой перца, и по утрам Абу-т-Тайиб вскакивал с юношеской бодростью, о которой успел позабыть давным-давно. Даже зубы перестали болеть; только до сих пор жутко свербели десны.

Все время, сводя с ума.

Если бы не это...

Абу-т-Тайиб отхлебнул из кубка. Сегодня он проверил крепость еще одного узла: впервые выехав из дворца в загородное имение нового спахбеда. Интересно, а если сейчас попытаться ускользнуть от свиты и челяди... Хмель толкал на подвиги, но благоразумие натягивало поводья — вспомни, поэт, торопливость ведет на «ковёр крови»! Славный такой коврик: его подстилают под приговоренного царедворца, дабы кровь не забрызгала покои владыки. Помнишь? — ты однажды уже стоял на таком ковре, и достаточно, достаточно!

Он помнил.

И продолжал сидеть за столом, тем более что на сегодняшний вечер у него был припасен еще один узел.

Государственный узел, можно сказать.

— Эй, Гургин!

Маг поднялся с глубоким поклоном. За весь вечер ста-

рец съел одну лепешку с тмином, запив ее подкисленной водой. Лицо у мага было мрачней ночи, кустистые брови сошлись у переносицы, тучами затеняя блеклую голубизну взора; и Абу-т-Тайиб еще подумал, что на месте мага хмурился бы вдвое.

Ишь, лепешка... под такие ароматы!

– Надеюсь, тебе передавали, что утром я вызывал к себе писца с докладом?

Гургин пожал плечами.

– О поступках владыки докладывают разве что солнечные лучи Огню Небесному. А я всего лишь дряхлый глупец, чьи советы лишены всякого смысла.

Абу-т-Тайиб кивнул, словно соглашаясь с выводом мага, и исподтишка мазнул быстрым взглядом: обидится ли?

Шайтан его разберет, хмурится и хмурится...

– Тогда, полагаю, тебе будет интересно знать, что я лишил пояса и кулаха окружного судью Пероза! – Поэт говорил уверенно, со знанием дела, забыв добавить лишь, что имя судьи Пероза узнал утром из бумаг писца. – Ибо дважды на Пероза поступали жалобы, где он именовался судьей несправедным, и вопли страждущих достигли небес! Что скажешь?

Странно: пирующие хоть и прислушались к словам владыки, но отнеслись к его заявлению крайне спокойно. Когда буидский эмир Муизз ад-Даула, фактический правитель Дарас-Салама, в обход халифа, или кордовский Омейяд аль-Хакам II смещали родовитых сановников – шептались ку-

да больше. Одному сановник доводился родичем, другому – покровителем, третьему – фаворитом, поверенным в делах, другом, наконец!.. А здесь тишина. Выслушали, кивнули и облизывают сальные пальцы.

Один Гургин дальше хмурится, хотя, казалось бы, дальше некуда.

Ну что ж, бедный поэт и не переоценивал своих возможностей в реальном возвышении или низвержении. Ясное дело, указы марионетки годны только в сундуке.

И все-таки...

– Владыка подписал указ об отстранении судьи Пероза? – спрашивает маг вполголоса.

– Да. И велел гонцу немедленно доставить сей указ в дом судьи.

– Не поторопился ли владыка? Возможно, стоило бы подробнее разобраться с жалобщиками? Судья Пероз стар, более чем стар, и лишит человека в его возрасте пояса и кулаха без детального разбирательства...

Маг говорит шепотом, еле слышно, хотя никто и не вслушивается в беседу шаха с советником.

– Ну, ты у меня тоже не мальчик, а от кулаха отказался! – Бледность внезапно заливает лицо мага, и Абу-т-Тайиб решает не перегибать палку, особенно имея в запасе новый подарок. – А впрочем, умница! Вот и я думаю: не погорячился ли? Не внял ли мольбам злоязычных?! Наш достопочтенный устроитель пира, мой названный сын, минутой ранее сообщил

мне: имение Пероза всего в двух фарсангах от этого дома! Итак: седлайте коней! Шах едет разбираться!

И, не дав никому опомниться, поэт встал из-за стола.

3

Сегодня он будет спать плохо. Очень плохо. Потому что, вломившись во главе хмельной толпы в имение отставного судьи, застал там громкий плач и причитания. Труп судьи лежал в открытом гробе-табуте, уже обмытый и завернутый в погребальные пелены; а рядом скорбно молчали родственники и близкие друзья. Обман исключался, да и не стал Абу-т-Тайиб проверять: настоящий судья лежит перед ним или поддельный? Просто постоял над трупом, вспоминая вопрос мага-советника:

«Не поторопился ли владыка? Судья Пероз стар, более чем стар, и лишить человека в его возрасте пояса и кулаха без подробного разбирательства...»

А ведь он всего лишь хотел уличить возможных заговорщиков в пренебрежении к указам шаха, уличить публично, дав пищу молве!

Уличил, владыка?

Ты ведь был уверен, отправляя гонца, что цена твоему указу – рубленый даник, и тот с обгрызенным краем!

– От чего умер судья? – глупо спросил Абу-т-Тайиб и едва не покраснел.

Вперед вышел ровесник поэта, очень похожий на умершего: вероятно, старший сын.

– От... – Он запнулся, проглотил слюну и уже твердо закончил. – От старости, мой шах. От старости.

– Получив мой указ?

– Да. Получив указ владыки. Вот...

Абу-т-Тайиб обратил внимание, что ему протягивают атласную подушку, поверх которой лежали пояс и кулах.

Золотые бляхи на ремне и россыпь жемчужин по зубчатому обручу; похожи на шахские регалии, но меньше и бедней.

– Оставь себе, – тихо сказал шах Кей-Бахрам. – Теперь ты – окружной судья. Оставь себе.

– Лучшего выбора трудно и представить, – шепнул на ухо Гургин, но шах не слушал его.

Лица. Лица родственников судьи, лица его друзей; лицо самого покойника. Абу-т-Тайиб мечтал, чтобы хоть на одном из этих лиц мелькнула укоризна, ненависть, презрение к владыке, подписавшему указ об отстранении из мимолетной прихоти... ну же!

Нет.

Лица были спокойны, и глаза смотрели понимающе.

Оправдывая.

Машинально Абу-т-Тайиб сунул пальцы в рот, ухватил, дернул... Извлек гнилой пенек, зачем-то спрятал его за кушак, видимо постеснявшись при мертвеце швырнуть в угол. Сунул окровавленные пальцы в рот снова, пошарил; и брови

шаха удивленно взлетели на лоб.

* * *

Уже отъезжая от судейского имения, он бросит Гургину:

– По приезде гони ко мне лекаря! Кто тут у вас зубами занимается?!

– Зубами у нас занимаются цирюльники, – прозвучит спокойный ответ. – Но владыке они не нужны.

– Как не нужны? А что тогда творится у меня во рту?!

– Ничего опасного, – и Гургин впервые за сегодня улыбнется. – Ничего опасного, мой шах. Просто у тебя режутся новые зубы.

**Глава седьмая,
где речь пойдет о благородном
искусстве охоты и послушных
шахской воле девицах, а также
о прилюдных казнях и мудрости
правителей – однако не будет
упомянуто, что если первым
днем года станет понедельник,
то это указывает на праведность
властвующих делами и наместников,
а также год будет обилен дождями,
взрастут злаки, но испортится
льняное семя, умножится моровая
язва, и падет половина животных
– баранов и коз; хорош станет
виноград и скуден мед, хлопок
упадет в цене, а Аллах лучше знает**

шах Кабира понял сразу. Тусклая сталь неба медленно раскалялась на востоке, где ангелы-кузнецы разжигали горн для переплавки грехов в добродетели – и металл тек голубизной, превращаясь в редкую разновидность индийского булата. Легкие белые стрелы облаков перечеркивали свод над головой, и Абу-т-Тайиб окончательно уверился: быть сегодня потехе!

Говорят, фазанья охота здесь – поистине шахская. Вот и проверим. Даром, что ли, за «ловчие поэмы» ему в свое время платили втрое больше, чем за винную лирику «хамрий-ят»?! А когда охотник может в любую секунду стать дичью, равно как владыка – падалью...

Поэт твердо знал: если, миновав невольничий рынок, взять наискось от угловой башни и спуститься в лощину, то через час начнутся кустарники, где и ждут ловца краснохвостые птицы со спинками из чистого серебра.

Знать бы еще, откуда подобная уверенность? И все-таки: прикроешь глаза и ясно видишь – рынок, дорога, лощина... фазаны!

Наваждение?

Пылающий лик светила еще только-только успел взмыть над твердью, оглядывая землю и выясняя, что здесь успели натворить в его отсутствие – а кавалькада нарядно одетых всадников уже выезжала из ворот дворца.

Меховая джубба, поданная шаху по случаю охоты, отороч-

кой подола свисала едва ли не до стремян. Конь шел ровно даже по грязи, не сбиваясь с рыси, а жгучий от холода воздух бодрил, быстро изгоняя остатки сна. Впереди покрикивали и незло щелкали нагайками телохранители-гургасары во главе со своим новым спяхбедом, гоня с дороги ранних прохожих... В общем, настроение у Абу-т-Тайиба было отличное – под стать этому ясному утру. В голове сами собой сложились два бейта:

Миновала давно моей жизни весна. Кто из нас вечно зелен? – одна лишь сосна.

Нити инея блещут в моей бороде, но душа, как и прежде, весною пьяна!

Пей, душа, пой, душа, полной грудью дыша!

Пусть за песню твою не дадут ни гроша.

Пусть дурные знаменья кругом мельтешат – я бодрее мальчишки встаю ото сна!

Абу-т-Тайиб, ставший с недавних пор шахом Кей-Бахрамом, громко расхохотался. Эй, игроки-кукольники! Смейтесь и вы! Смейтесь над болваном в венце, плетите сети интриг, дайте вдоволь надышаться дразнящим запахом опасности, дайте миру еще немного побыть обжигающе ярким; позвольте вам подыграть, не забывая украдкой глазеть по сторонам. Кабир ваш для меня – тайна за семью печатями, но каждая поездка добавляет золотые крупички в сокровищницу

цу знаний – а знания эти мне понадобятся, ох как понадобятся!

И, возможно, весьма скоро.

На первый взгляд Кабир мало чем отличался от других виденных Абу-т-Тайибом городов – а их на своем веку поэт повидал немало. Кривые улочки, майданы, хаузы-водоемы, глухие высокие дувалы скрывают от досужих взглядов внутренние постройки, сплошь каменные (хоть у богачей, хоть у бедняков). Оно и понятно: камня кругом в изобилии, бери – не хочу, а дерево еще поди сыщи! Мошна тугая? – возводи дом хоть из белого с прожилками мрамора, добываемого рабами и каторжанами в каменоломнях; каждый дирхем на счету? – строй жилище из ноздреватого ракушечника-желтяка или серого сланца. Все – как в той же Куфе, Басре, Дарас-Саламе... все, да не все.

Во-первых, город непривычно чист. По крайней мере те улицы, где они ехали, явно убирались метельщиками не за страх, а за совесть.

Топтать стыдно.

Во-вторых, дувалы наиболее богатых домов украшала лепнина из белого ганча, раскрашенного пестро и ярко. Среди изящных переплетений листьев, стеблей и бутонов, дозволенных правоверным, частенько встречались изображения зверей, птиц и даже людей. Было совершенно очевидно, что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) почему-то забыл просветить эти края, и души мест-

ных жителей до сих пор блуждают впотьмах, не зная истинной веры... Впрочем, они-то как раз считают, что впотьмах блуждают все остальные, а их души освещает лично Огонь Небесный. Ладно, да простит Аллах меня и гяуров-кабирцев, но с вопросами веры мы разберемся позже.

Ведь сказано: «У пророка Божьего из всех его добродетелей прощение обид есть именно та добродетель, на которую можно уповать с наибольшей уверенностью».

Вознесем упования!

Да и, само собой, нигде не видно устремленных в небо минаретов, столь привычных глазу. Здешние храмы – низкие, круглые, и есть подозрение, что немалая часть сих языческих капищ прячется под землей. Равно как и замыслы местных жрецов-хирбедов: даром, что ли, именно парочка святош сопровождала на тот свет мальчишку Суришара?!

Молодец, шах свежепомазанный, правильно Гургина приблизил...

А вот и городские ворота.

Да здравствует шахская охота – и прочь до поры до времени все другие мысли!

2

Охота удалась: дичи было вдоволь, и рука ни разу не подвела Абу-т-Тайиба; ехавшие сзади слуги везли в тороках целую стаю подстреленных птиц. В искусстве дворцовых пова-

ров шах имел уже возможность убедиться, а предвкушение скорого ужина заставляло чрево бурчать.

От спин разогревшихся коней подымались облачка пара, по телу разливалась сладкая истома. Вдобавок имелось еще одно обстоятельство для радости: когда во время охоты Абу-т-Тайиб намеренно оторвался от свиты, ускакав далеко вперед, никто не поторопился догнать шаха.

Свобода? – нет, просто дергаем узлы.

Пока.

Впереди уже виднелась арка ворот, когда Абу-т-Тайиб заметил у обочины какую-то девушку, уступившую дорогу кавалькаде с похвальной резвостью. Одного взгляда на пышно разодетых охотников ей вполне хватило: девушка, стесняясь, поспешила согнуться в поклоне, а затем прикрыла лицо передником. Одежда ее слегка задралась, обнажив стройные щиколотки, и этот жест развеселил поэта.

Абу-т-Тайиб подбоченился и с улыбкой продекламировал:

Что скрываешь ты, девица, под покровами одежд?
Дай же взгляду насладиться, не обманывай надежд!

Мое сердце – спелый персик, хочешь, режь, а хочешь,
ешь,

Я сгораю в нетерпении, охлади мой пыл, красавица!

Он тронул было поводья, собираясь ехать дальше. Но вме-

сто этого застыл на месте, вновь придержав недовольно заржавшего коня.

Девушка раздевалась. Совершенно спокойно, и без всякого смущения. Абу-т-Тайиб в недоумении покосился на своих спутников: мол, что это с ней?! Головой скорбна?! Но спутники, похоже, воспринимали поведение девушки как нечто само собой разумеющееся: гургасары без особого интереса наблюдали за обнажающейся девушкой, двое придворных беседовали вполголоса; Суришар вообще смотрел на него, Кей-Бахрама, дабы не пропустить момент, когда шах командует ехать дальше. Ни удивления, ни соленых шуток, ни ехидных ухмылок – ни-че-го!

Поэт вновь перевел взгляд на девушку – та уже успела раздеться полностью и теперь стояла перед шахом во весь рост, потупив глаза. Даже срамных мест не прикрыла ладонями. Ждала. Чего? Разрешения одеться? Приказа взять ее в шахский гарем? «Впрочем, что это я?! – опомнился Абу-т-Тайиб. – Откуда ей знать, кто перед ней? На лбу ж не написано: шах, мол... Интересно, у них тут женщины перед каждым встречным вельможей раздеваются, чтобы он их оценил?!»

Девушка была весьма привлекательна, но сейчас поэту было не до томления плоти. Однако пора и честь знать. Надо подводить итог, а то ведь так и простоит до вечера голой!

И добро б летом!

Жалко, милая, что стар я, волосы проела плешь,

Ты – моя бывшая юность, гордая красавица!

За такой финальный бейт впору было вытянуть самого себя плетью, но красавица все поняла правильно. И принялась одеваться. Ни улыбки, ни обиды не отражалось на ее лице: словно она просто исполняла обыденный долг. Скажем, обед готовила или одежду стирала.

Шах пожал плечами и махнул рукой спутникам – поехали!

Уже подъезжая к воротам, он жестом подозвал к себе ехавшего сзади Гургина.

– У вас тут все девки такие бесстыжие?

– Желание великого шаха – закон, – напыщенно проговорил маг.

– Допустим. И даже можно припомнить сходную историю, которая произошла с Хасаном Кудрявым и юной фазариткой. Но откуда эта роза ваших цветников узнала, что я – шах?!

– Разве можно глядеть на солнце, не прищурясь? – прозвучал удивленный ответ. – И тем более не узнав светила?!

«Поговорили, – досадливо подумал Абу-т-Тайиб, посылая коня вперед. – От души».

Перед глазами до сих пор стояла нагая девица, и чувствовать себя молодым было отчего-то неприятно.

Юный спахбед ехал позади шаха и не уставал тихо радоваться. Дважды его испытывали, и дважды он был слепей новорожденного кутенка! Уши Суришара сами собой краснели от стыда, когда он вспоминал об этом. Ведь Судьба ясно указала ему его место! На два крупа за спиной в минуты покоя и рядом в годину бедствий! А он, глупец, не внял знамениям – и только бесконечная доброта и мудрость Кей-Бахрама (да восславится его имя в веках!) спасли юношу от гибели. Более того: владыка лично вручил шах-заде кулах, пояс и перстень, приблизил к себе, оказав тем самым высочайшее доверие! Помнишь, неблагодарный: ты еще смел сомневаться в этом великом человеке, оспаривать его право на фарр и трон?!

Разве не узрел ты в Медном городе гнев Златого Овна, провозвестника явления истинного венценосца?!

И все же, лучше позже, чем никогда! Его, Суришара, счастье, что новый шах оказался человеком с большим сердцем и широкой душой. Впрочем, что значит – *его* счастье?! Это счастье всего Кабирского шахства! Держава вновь процветает, смуты прекратились, подданные возрадовались и туго подпоясались поясами служения, наверстывая упущенное за время безвластия. Солнце, имя которому – фарр-ла-Кабир, возшло над землями, согревая души людей. Все это – лучшее доказательство того, что шахский кулах достался Кей-

Бахраму по праву.

Хотя какие нужны доказательства зрячему?! Вон впереди едет владыка, чья меткость и крепость руки сегодня были несравненны – и сияние священного фарра окружает его, подобно малому солнцу! Недаром же говорят, что шахский фарр – частица Огня Небесного...

Кей-Бахрам поднял руку, и вся процессия послушно остановилась.

– Этим путем мы уже ехали. Если взять от невольничьего рынка на северо-запад, мы доберемся до дворца?

– Конечно, владыка! Дорога получится длиннее на полфарсанга, но ко дворцу мы выедем.

– Не беда, что длиннее, – усмехается шах. – Должен же я познакомиться со своей столицей? За мной!

Они миновали ряды лавок, обогнули храм Огня Небесного, насквозь пересекли ремесленный квартал – и оказались на площади. Не на центральной, где били фонтаны в виде диковинных цветов, а на той, что в народе прозвали Судейской.

И поделом.

Здесь оглашались приговоры, после чего сразу, не теряя времени, вершилось правосудие.

Сейчас, к примеру, на площади шла казнь.

Очередных ловкачей с большой дороги, чья удача не вовремя вильнула хвостом, ждала грустная участь. Мелких ворюшек пороли, маститым грабителям рубили десницу, а ду-

шегубам-полуночникам маячили острые колья. Не слишком толстые – стыд терзать человека сверх должного!.. но и не слишком тонкие – чтобы сдохли, успев хорошенько осознать перед смертью свою вину. Да и добрым молодцам урок: пусть смотрят на дружков. Авось призадумаются, прежде чем выходить на дикий промысел, почешут в затылках...

Один разбойник уже исходил кровавым хрипом на колу: баловень судьбы! – похоже, мучаться бедняге оставалось недолго.

Второй кол с насаженным на него преступником как раз опускали в заранее приготовленное углубление. Казнимый пока держался: скрипел зубами от боли, но молчал. Ну-ну! Скрипи, герой, поглядим, надолго ли зубов хватит! За всю историю Кабира лишь разок случилось чудо, когда душегуб проторчал на казенном колу больше полутора суток, и отвалил в ад, так и не проронив ни звука.

Да и то, скорее всего палаческая сказка.

Зато с третьим приговоренным (видимо, главарем, ибо кол для него приготовили заметно толще, чем для двух первых) вышла заминка. Когда процессия въехала на площадь, расплескав конями ряды зевак, двое дюжих стражников пытались завалить детинушку, дабы палачи управились с колом. Но парень неожиданно вырвался, пнул оплошавшего стража ногой в живот – тот улетел с помоста спиной в толпу; плечом отшвырнул другого и попытался освободиться от сыромяти, опутавшей руки.

Пришлось стражникам-друзьям бросать кол на попечение заплечных и хвататься за копья. Но широкие жала миновали дерзкого: еще чего! – даровать преступнику легкую смерть?! Пусть и не надеется! Два древка с размаху обрушились на бока разбойника; тот пошатнулся, но устоял. Нырнув под очередной удар, парень кинулся на врагов, брыкаясь хуже дикого жеребца. Да, будь ремень на его руках податливей, выбил бы удалой душегуб у жизни последний фарт. А то и с собой кого-нибудь прихватил, в пекло.

Ах, ремень, сыromять моченая...

Палач ловко налетел на голого парня сзади, сбил с ног, навалился потной тушей... И мигом получил связанными руками в ухо. Они покатались, вынуждая стражей прыгнуть в стороны; и зеваки принялись орать во всю глотку, подбадривая дерущихся.

Когда еще увидишь подобное зрелище?!

– Кто этот буян? – осведомился вдруг Кей-Бахрам.

– Он разбойник, владыка, – безглаголиво поджал губы Гургин. – К подобному отребью я испытываю лишь презрение.

– А мне нравится, – возразил шах. – Один, со связанными руками... Таких не на колья сажать, а в седло! Эй, Суришар, отличный бы вышел юз-баши твоим «волчьим детям»! – цепляться за жизнь тоже уметь надо...

Суришар с обожанием внимал Кей-Бахраму. Вот достоинство шаха – сам доблестный воин, и чужую доблесть уважает! Пусть даже ее проявил презренный разбойник, воздев

стяг мятежа над головой непокорства. Впрочем, нет, какой же он теперь презренный разбойник – разве шах высказался недостаточно ясно?!

Как и следовало ожидать, монаршая воля остановила побоище. Палач взмахнул тесаком, который минутой раньше успел выхватить, и узы лопнули. Разбойник проворно отскочил к краю помоста, готовясь защищаться и недоумевая: новая забава? везение? случай?! Эй, подходи-налетай, глотки перегрызу!

Суришар, улыбаясь, следил за парнем. Молодец! Хоть и не понял ничего, а молодец. Впрочем, в горячке боя, когда рвешь душу в клочья, это простительно. И все же – странно...

Разбойник дернулся, словно от ожога, – и окаменел. Прямо так и окаменел, в теплом плаще с меховым подбивом, который кинул ему на плечи подоспевший десятник гургасаров.

– Пойдем, – «волчий сын» с уважением, но настойчиво взял парня под локоть, и тот, вконец растерявшись, не стал противиться.

Толпа предупредительно расступилась.

Суришар знал, что ему надлежит делать. Он кликнул нужного человека из свиты – и вот уже молодой спяхбед подъезжает к шаху, почтительно протягивая владыке сотничьи знаки отличия: высокую шапку с венцом-кулахом и наборной пояс с ножами кинжала.

– Изволь, мой шах...

– Что?! – хмурится шах, с изумлением глядя на поданные регалии.

Кей-Бахрам передумал?! Да нет, Суришар бы это понял сразу!

– Владыка даровал помилование этому человеку. Вот пояс и кулах для производства в юз-баши, «главу сотни».

На мгновение лицо шаха удивительно меняется, и почти сразу его озаряет усмешка.

– А что, приятель? И произведу! Хаййя! – жил в разбое, жил в набеge, как за пазухой у Бога, пусть судьба моя убога, нынче ж буду сотником! Давайте его сюда!

– Падай, ниц падай! – шипит «волчий сын» на ухо бывшему разбойнику. – Совсем голову потерял, да?! Это же сам великий шах Кей-Бахрам! Он милует тебя и производит...

До парня наконец доходит, и он неуклюже валится ниц.

Гургин, подъехав к шаху, что-то шепчет ему на ухо, но владыка только досадливо отмахивается, и до Суришара долетает обрывок возгласа:

– ...на себя посмотри!

После чего ошалевший от счастья разбойник получает кулах и пояс юз-баши.

Суришар улыбается. Сегодня хороший день. И завтра будет хороший. Теперь всегда будет сплошной праздник.

Всю жизнь.

Шах-заде едет на положенном расстоянии, созерцая спи-

ну Кей-Бахрама, и улыбается.

4

– Нового юз-баши – в мои покои. И подать нам ужин.

«Прости меня, Всевышний, но к твоим милостям привыкаешь быстро», – Абу-т-Тайиб поудобнее устроился на тахте в ожидании гостя и ужина. Отметив, что гостя он ждет больше. Потому что до сих пор терялся в догадках: как могли палач и стражники сквозь гомон толпы услышать его... нет, не приказ даже – так, мысли вслух? Что у них, уши слоновьи?! И, тем не менее: освобожденный от пут разбойник мигом оказался рядом, а верный (?!) Суришар нес в клюве пояс с кулахом. Ну, с регалиями ладно, небось все время за шахом это добро возят, на всякий случай; зато все остальное...

Очень странно. Колдовством пахнет! – или опять-таки заговором.

Е рабб, но тогда бородавчатый маг Гургин здесь точно ни при чем: старик явно хотел продолжения казни! С одной стороны, все ясно: советника язык кормит, а совет не производить разбойника в юз-баши гургасаров был вполне разумным. Если бы не доводы, которые старик шептал на ухо Кей-Бахраму:

– Посмотри на его глаза, мой шах! Он же «небоглазый»! Нельзя...

Хирбеду, значит, «небоглазым» быть можно, а юз-баши

– нельзя? Разумеется, Абу-т-Тайибу было хорошо известно, что большинство голубоглазых от роду-веку – мошенники и плуты, и вообще люди ненадежные, спроси любого араба от Дар-ас-Салама до аль-Андалуса! Но приводить такой довод, да еще в делах государственных... на себя бы посмотрел!

О чем Кей-Бахрам и не преминул заявить упрямому старцу, заставив последнего прикусить язык.

Что же касается разбойника... Парень действительно понравился Абу-т-Тайибу. И не только тем, что сражался за свою жизнь почище обложенного охотниками барса. Поэт нутром чуял: разбойник может ему пригодиться. Это был человек, который не признал в нем шаха с первого взгляда! И участия в заговоре новый юз-баши принимать никак не мог.

А значит, будет говорить правду.

Абу-т-Тайибу очень нужна была эта правда, какой бы она ни оказалась.

– ...Позволит ли... э-э-э... добра шаху навалом!

У входа распростерся давешний разбойник. Поэт обратил внимание, что новоиспеченный юз-баши облачен уже в форменные шаровары и куртку-абу.

Пояс сверкал серебром, а шапку с кулаком он смущенно тискал в кулаке.

– Заходи, юз-баши! Садись. Сейчас ужинать будем.

Парень встал, нацепил шапку на макушку и остался стоять на месте.

– Сюда иди, говорю, – рывкнул Абу-т-Тайиб, и это возымело действие: разбойник-сотник, не посмев послушаться, осторожно примостился на тахте напротив.

Замер, глядя в пол и не зная, куда девать здоровенные, похожие на грабли руки. Такими только и грабить! Чем парень до последнего времени, по-видимому, и занимался.

– Как тебя зовут?

– Дэв... Ой! Не гневайся, твое шахское величие! Худайбег я... Худайбег из Ширвана.

– Худайбег аль-Ширвани, значит. А Дэв – это, надо полагать, кличка?

– Кличка, твое шахское... дружки прозвали.

– Разбойники, как и ты?

– Не, не как я. Я у них за курбаши был, – честно признался Худайбег, разведя ручищами.

Его, видать, самого изумляло: из курбаши на кол, с кола – в юз-баши... был пожиже, стал погуще!

Чудны дела твои, Огнь Небесный!

– Грабили, значит?

– Грабили, – с охотой подтвердил сотник.

– Убивали?

– Бывало, – понуро кивнул Худайбег. – Я в разгуле с младых ногтей, первого своего в девять лет приколот, копьем-то... старый курбаши – родитель мой. Ты, шахское твое, вели гулямам вернуть копьецо, оно мне по руке... А я теперь за тебя по пять вражин за раз нанизывать стану, ты уж не

сомневайся!

— Позволит ли великий шах внести ужин? — вкрадчиво мяукнули за дверями.

— Давно пора! — улыбнулся поэт. — Вноси, пока мы с голоду не померли!

«И когда это они фазанов успели зажарить?» — подивился он, наблюдая, как слуги проворно расставляют на дастархане многочисленные блюда, блюдца, блюдечки и великое множество чаш с кувшинами. Подобным ужином можно было накормить до отвала человек восемь.

Когда слуги тихо удалились, прикрыв за собой двери, поэт, как и положено гостеприимному хозяину, первым разломил поджаристую лепешку.

Протянул часть Худайбегу:

— Ешь. И не бойся ничего. Не для того с кола снял, чтоб отравить. Нет шаха, нет душегуба — есть хозяин и гость. Понял, оглобля?!

Парень несмело улыбнулся и жадно впился зубами в предложенную лепешку. Взглянув в голодные глаза юз-баши, шах подумал, что, может, слуги и не зря принесли столько еды!

Вскоре захрустели фазаньи кости, горячий жир потек по пальцам и подбородкам. Было отдано должное и молодой зелени, и уксусному супу с барбарисом, и форели в сброженном соке граната — всего и не перечислишь! Добрались и до серебряного кувшинчика с крепкой настойкой. После второго кубка лицо юз-баши порозовело, парень расслабился и

окончательно бросил стесняться.

Чего поэт и добивался.

Аппетит у юз-баши оказался под стать кличке: дэв-великан помер бы от зависти, глядя на столь завидную прожорливость! Однако всему в этом мире есть предел, кроме осведомленности и могущества Аллаха – и Худайбег удовлетворенно рыгнул, откинулся на подушки и замер с кубком в руке.

Пришло время беседы.

– Ну, приятель, а теперь поведай мне: за какие грехи едва на кол не угодил?

– Твое шахское... – В брюхе у парня громко забурчало.

– Мое шахское тебя уже помиловало. Отвечай!

– Гонца я твоего порешил. С этим... с фирманом о восшествии. Я ж не знал, что он гонец! Думал, кисет динаров возьму... а он, баран, за сабельку! Я копьём ширнул, стал обыскивать, тут грамотка и всплыла. А дружки мои (бывший душегуб разгорячился и даже хватил кулаком о стол, заставив посуду задребезжать) гвалт подняли, отродья трусливые! Что ты, кричат, наделал, сын шакала! Это я-то сын шакала, отвечаю?! Ты, ты! Зачем шахского посланца кончил? Не хотим из-за тебя, дурака, в пекло! – и всем скопом как навалятся!

Лицо парня пошло багровыми пятнами: от возбуждения и выпитой настойки.

– Ты действительно не знал, что гонца встретил? – с на-

пусковой строгостью поинтересовался Абу-т-Тайиб.

– Клянусь Огнем Небесным, не знал, твое шахское! Малахай с лисьим хвостом он, видать, потерял, а я ж не провидец!

– А твои дружки? Они что, провидцы? Или им не един финик: гонец, не гонец?!

– Дружки? – с подкупающей искренностью растерялся Худайбег. – Суки они, а не провидцы! Сам диву даюсь: гонца, кричат, порешил, за гонца нам всем мука мученическая... а с чего взъярились, не ведаю!

Дыхание его участилось, стало хриплым, по лицу стекали капли пота.

– Истину говорю, твое шахское: не ведаю! Набросились они на меня, повалили... много их было, а то б я отбился. Связали по рукам-ногам, и к судейскому дому прямо под дверь кинули. Вместе с копьем; а к древку писульку ниткой примотали: кто таков, мол, и за какие грехи! Нашелся один гад, грамотный... поймаю – удавлю!

Парня била крупная дрожь, пот по лицу тек уже ручьями, но поэт не придавал этому значения, размышляя вслух:

– Значит, дружки тебя и повязали? Ох, врешь ты, приятель! Не водится такого промеж гулящими. Ножом пырнуть, если чем крепко не угодил – могут, но чтоб судье, с запиской... И за что? Ты шахского гонца не узнал, а душегубы за гонца горой; и меня ты не сразу признал, когда другие за фарсанг... Как мыслишь, юз-баши? Сотник, что с тобой?!

Худайбег медленно заваливался на бок. Глаза его заката-

лись, страшно сверкая белками, лицо было уже не красным, а лилово-синим, похожим на бычий пузырь. Бывший разбойничий главарь дернулся, упав с тахта на пол, высокая шапка с дареным венцом-кулахом отлетела прочь – и дыхание парня вдруг стало ровнее.

Однако сознание не вернулось.

«Отравили, дети ехидны! – вскочив, Абу-т-Тайиб едва не схватился за голову: столь очевидным было покушение на нового юз-баши. – Фазаны! Начинили банджем!.. да нет, мы же чуть ли не из одной плошки! Хотя мало ли что ему могли подсунуть до того, как привести в мои покои!»

– Лекаря! Быстро! – раскатился по дворцу львиный рык.

5

Лекарь-хабиб морщил личико престарелого младенца, долго тряс куцей козлиной бороденкой, осматривая бесчувственного Худайбега. Принюхивался, прислушивался. Потом велел своему молодому ученику раздеть больного – и шах еще подивился, каким здоровенным оказался разбойник. Абу-т-Тайиб стоял рядом и с восхищением глядел на гору налитых силой мышц. Не зря парня Дэвом прозвали! Такому стражей кидать – что детям палые листья!

Впрочем, сейчас Худайбег был беспомощней дитяти, и козлобородый хабиб из кожи вон лез, стараясь привести сотника в чувство.

Не получалось.

Но все же кое-чего лекарь добился: когда парня раздели и растерли мазью, а в полуоткрытый рот влили каплю-другую резко пахнувшего снадобья, краснота покинула лицо юз-баши. Он гулко вздохнул, пустил ветры, и болезненное забытье плавно перешло в здоровый сон.

– Пусть спит, – решил Абу-т-Тайиб. – Уложите его в покоях по соседству с моими, и чтоб кто-нибудь за ним присматривал!

Хабиб не посмел перечить, а приглядывать за больным оставил своего ученика, заверив владыку: юноша достаточно преуспел в искусстве врачевания и в случае чего сумеет оказать помощь.

Наконец лекарь ушел, в покоях воцарилась благоговейная тишина, но шах еще долго не мог уснуть. Хотел было распорядиться прислать к нему одну из наложниц – но передумал.

Любви не хотелось; слишком много ее было вокруг, любви-то – обрыдло.

Неужели происки Гургина?! Не сумел уговорить шаха продолжить казнь – так отравить парня решил? Надо будет спросить Худайбега, когда очнется: не давали ли ему какой-нибудь еды или питья перед визитом к шаху. И держать юз-баши при себе, рядом, не отпускать ни на шаг – уморят ведь, твари верноподданные!

Наконец шах заснул, и ему приснился сон.

Он шел по длинному, нескончаемому коридору, а вдоль

стен истуканами стояли люди – все, как на подбор, голубоглазые. И каждому шах вручал пояс, кулах и перстень, пояс, кулах и перстень, пояс, кулах и...

Крик.

Гулкий, протяжный, многоголосый.

Осколки неба вздрагивают в бойницах, отороченных черной плесенью; синь течет, выплескивается, заливает коридор, дворец, мир...

Шах оглянулся – и увидел. Те, кому он вручил знаки отличия, один за другим с хрипом валились на пол, изо рта у них шла кровавая пена, глаза тускнели, останавливались... Шах закричал, вплетая в общий крик и свою ноту – после чего проснулся.

Было утро, и Абу-т-Тайиб, мучимый дурными предчувствиями, заторопился провести новоявленного юз-баши.

Однако, к счастью, предчувствия оказались ложными. Растирая красные от бессонницы глаза, ученик хабиба доложил, что с пациентом все в порядке, он уже проснулся и чувствует себя хорошо.

«Слава Аллаху!» – пробормотал поэт, погнал ученика отсыпаться и шагнул в покои юз-баши.

На Худайбеге были одни шаровары из синей ткани – он еще не успел до конца одеться. Узрев шаха, парень с грохотом лавины в горах пал ниц, но Абу-т-Тайиб мигом заставил его вскочить на ноги.

Незло пнул под ребра и скомандовал:

– Вставай!

– Хорошо спалось, твое шахское?.. – торопливо забормотал Худайбег.

– Лучше некуда. Ты-то как, сотник?

– Жив покамест, твое шахское! Жрать только хочу.

– Ну и славно. Одевайся. И без промедления ко мне – завтракать вместе будем.

– Ух ты! – просиял Худайбег, явно даже в мыслях не виня Абу-т-Тайиба за вчерашний приступ. – Ты, твое шахское, только намекни: я кому хошь ноги из зада-то повыдергаю!

Парень искренне старался хоть чем-то отблагодарить своего спасителя. Щенок. Да, душегуб и грабитель, но щенок. Радостный, открытый, разве что хвостом не виляет. Не было в нем тупой покорности и раболепия, а ухмылка вдруг напомнила Абу-т-Тайибу прошлую ненависть в глазах Суришара.

Обе были честными: и радость, и ненависть.

Разве что ненависть была, да сплыла, а радость – есть.

Абу-т-Тайиб направился к выходу из покоев. На пороге он оглянулся и, оборачиваясь, вспомнил, что это – плохая примета.

Как в воду глядел!

Худайбег успел накинуть куртку, подпоясаться, и сейчас как раз надевал шапку с кулахом. При этом лицо его было мокрым от пота, а на щеках начали проступать знакомые багровые пятна.

Ряды «небоглазых» вдоль стен, кулах, пояс, падающее тело...

– Снять! Быстро! Шапку скинь, я сказал! – Поэт еще не успел осознать до конца собственную догадку, а слова уже сами рвались из горла. – Теперь – пояс! Да не лишаю тебя своей милости, не лишаю! Снимай, Дэв! Ну что, полегчало?

– Полегчало! – изумленно шепчет юз-баши, во все глаза глядя на своего благодетеля.

– Скажи слугам, пусть выдадут тебе другой пояс и шапку. Обычные. Будут упрямитесь, передашь: воля шаха. И зайдешь попозже – шах желает поразмыслить. А эту... эту дрянь больше не надевай.

Абу-т-Тайиб хотел забрать регалии, но тут ему вспомнился скоропостижно скончавшийся судья, и он передумал.

– Не надевай, но и не выбрасывай. Пусть тут лежат.

И шах вернулся к себе, но спокойно поразмыслить ему не дали.

На пороге возник слуга.

– Дозволит ли мне владыка говорить?

– Ладно, говори, шайтан с тобой. Что там еще?

– Хирбеди Нахид нижайше молит владыку об аудиенции.

– Хирбеди Нахид? – Абу-т-Тайибу сразу вспомнилась юная голубоглазая жрица, так до конца и не смирившаяся с тем, что новым шахом станет он, чужак с того света.

Голубоглазая. Снова – голубоглазая...

– Я приму ее, – кивнул слуге Абу-т-Тайиб. – Зови.

Глава восьмая,

где используются новые способы наказания ослушников, исследуется польза от подражания Харуну Праведному, но по-прежнему никоим образом не освещается удивительный факт, что если первый день года – вторник, день Марса, то это указывает на многую гибель людей, дороговизну злаков и малость дождей, а также отсутствие рыбы и удешевление меда с чечевицей; еще умножится падеж ослов, а Аллах лучше знает

то искушает, если же надушится и приукрасится – убьет наповал!» Раскрой уста гранатовые, предназначенные для речей сладких и приятных для слуха – шах внимает тебе!

Замечательно! Абу-т-Тайиб разглядывал жрицу, простершуюся у его ног, и получал истинное наслаждение. Даже в такой позе, долженствующей выражать крайнюю степень смирения, Нахид ухитрялась выглядеть дерзкой!

Талант!

Дар Божий!

Хотелось позвать Гургина, дабы маг тоже получил свою часть удовольствий; но поэт раздумал. Обойдется, упрямец. Нечего ему на девок пялиться. Наедине поговорим, нам посредники излишни...

– Ну, вставай, свет очей моих, вставай скорее!

Словно вихрь взбил песчаный смерч: девушка взлетела на ноги, плеснув кистями дорожной шали, – и наотмашь ожгла Абу-т-Тайиба плетью взгляда. После чего, как и положено рабе на аудиенции у владыки, свет очей скромно потупила взор.

Поэту даже показалось, что он слышит явственный скрип. Взор ни в какую не желал потупляться, а о скромности вообще не шло речи. Так ржавый ворот визжит, сопротивляясь насилию. Так упрямится под ветром старая акация. Так смотрит на захватчика пленный воин, и ноздри пленного бешено раздуваются от бессильной злобы. Глаза девушки сверкнули голубыми углями, обдав поэта ненавистью, откоро-

венней которой может быть лишь плевок в лицо. И Абу-т-Тайиб мысленно поздравил себя: наконец-то перед ним человек, который его искренне ненавидит. До сих пор. Невзирая на перемены и изменения.

Ненавидит и не может скрыть чувств. О счастье! Разговор обещал быть весьма занимательным.

– Не соблаговолит ли владыка ответить... Правда ли, что верховный хирбед Гургин получил кулах главного вазирга?!

Да, не очень-то ты, девочка, привыкла говорить с владыками. Смотришь прямо, говоришь прямо; там, откуда я родом, за один такой вопрос зовут палача и велят расстелить «ковер крови»! В лучшем случае, палок дадут. По пяткам. Знаешь, как это делается? Берется палка с ременной петлей посередине, некие прелестные ножки захлестываются сей петлей, а палка перекручивается – чтоб ремень как следует врезался в щиколотки. Потом палка вздергивается к небу, а палачи берутся за гибкие средства вразумления... Но я обожду и с ковром, и с палками. Мне интересно, что ты скажешь дальше, хотя я и догадываюсь об этом.

Я отвечу.

– Вполне возможно, несравненная, вполне возможно. Все в воле Творца и шаха, хоть шах и ничто пред Господом миров.

Похоже, девочка, ты только-только приехала – вернее, примчалась! – в Кабир. И еще не знаешь, что Гургин великолепно обходится без кулаха и пояса. Это правильно, ни к

чему тебе лишние сведения, вольный язык быстрее развязывается.

– Владыка! Во имя Огня Небесного – или, если хочешь, во имя Творца, которому ты поклоняешься... Не делай этого!

Мольба?

Клянусь низвержением идолов, мольба!

И едва ли менее искренняя, чем ненависть.

Взгляд «небоглазой» заплывает первыми каплями дождя, соленого ливня, которому только дай хлынуть на иссохшую землю! – ударит в тысячу плетей, заплещет по трещинам, вскрикивая от сладкой боли! Прости меня, девочка, или не прощай, если тебе так больше нравится, но я давно уже не боюсь вида женских слез, и ненависти тоже не боюсь, а вот ты боишься! И не за себя, а за мага с бородавкой.

Он мне руки лобызал, скорпионом ползал по коврам, а чем ты расплатишься за милость?

– Я предлагаю Гургину высокий пост, славу и почет. Неужели ты считаешь своего учителя недостойным славы? – Абу-т-Тайиб всплеснул рукавами от притворного удивления.

– Ты убиваешь его! Это не слава и почет, это смерть, это хуже, чем смерть!..

Нахид осеклась и крепко-накрепко зажала ладошками рот. Поэт смотрел на девушку и думал, что царства рушатся вот из-за таких: честных и открытых. Самый опасный сорт народа. Любовь, ненависть, долг и забота, а что в итоге? – сболтнут лишнее, и начинают каяться, когда уже поздно.

С лицемерами проще.

– Окружной судья Пероз умер, когда я *лишил* его должности, – медленно проговорил Абу-т-Тайиб. – Это я еще как-то могу понять. Но ты, красавица, утверждаешь, будто я убиваю Гургина, *назначая*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.